

АБ МИШЕ

**ПОСРЕДИ ВОЙНЫ
ПОСВЯЩЕНИЯ**

О Г Л А В Л Е Н И Е

Посвящение первое.....	7
Посвящение второе или <i>Имена</i>	34
Посвящение третье или <i>«Зажгите мне свечку»</i>	94
Посвящение четвёртое или <i>Бой</i>	116
Посвящение пятое.....	185
<i>Заключение</i>	186

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОЕ

Рафаилу НУДЕЛЬМАНУ,
другу моему, советчику и союзнику;
инициатору и опекуну
этой книги

1933 - 1945

Уничтожение евреев гитлеровцы окрестили «окончательным решением еврейского вопроса». В «окончательности» проглядывает и возможный **конец** мира – уж очень успешно поставили нацисты на евреях опыт уничтожения людей людьми. Выяснилось: человечество самопожирается легко и лихо. Гитлер – Сталин – Хиросима – Чернобыль – сколько ещё возможностей прикончить себя? Прикончить. Порешить. Оба глагола одного корня со словами «окончательное решение».

Семантика ухмыляется, История усмехается. И даёт показательное представление.

Театр апокалипсиса. Сценарий – Шекспирам-Кафкам не снилось.

Впрочем, писаного сценария почти нет: не отыскали историки единого руководящего документа с указанием автора, исполнителей, сроков, способов – всего, что принято намечать в преддверии серьёзного дела. А ведь куда как серьёзно: убить миллионы. Нет, не убить – у преступников своя система сигналов и на

гитлеровской фене убийство звалось «переселением», «депортацией», «устранением», «эвакуацией», «специальной обработкой», «окончательным решением». Один лишь главарь, фюрер, земной бог нацизма мог позволить себе красивое словцо «депопуляция» или, в русском переводе, коряво, но ярко: «обезлюживание». Заметим, кстати, не «обезвреивание», а обобщённо до глобальности.

С него, Гитлера, начинается список *Действующих лиц* Трагедии.

Их – тьма. Только в Германии, только в СС – «охранных отрядах нацистской партии» служило 800 тысяч человек, в «штурмовых отрядах» СА – миллионы, а ещё был *гитлерюгенд*, охвативший почти всю германскую молодёжь, и 600 тысяч различных «политических руководителей», и просто полиция, просто солдаты гитлеровской армии – *вермахта*... Подсчитано, что гитлеровских преступников-немцев около пяти миллионов. А ведь на оккупированных территориях ещё местные поучаствовали, полчища...

Всех не учесть. Выделим главных.

1. Руководители.

Адольф Гитлер – глава немецкой национал-социалистической (нацистской) партии и с 1933 года германского государства. Патологический антисемит и гроссмейстер демагогии, понимавший убойную силу юдофобии (Маркс: «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой»; Гитлер: «Антисемитизм – самое сильное средство в моём пропагандистском арсенале»). Он довёл «вялый немецкий антисемитизм» (выражение **И. Феста**) до уровня иступлённой расистской идеологии и превратил в государственную политику, поддержанную народными массами.

Объявив еврейскую расу абсолютным Злом – разрушителем германской нации и всего человеческого рода, Гитлер обусловил «спасение мира» уничтожением евреев. Его «рациональный» (в противовес прежнему безалаберному «эмоциональному») антисемитизм неуклонно набирал мощь. Разогнанный Гитлером истребительный маховик вращался так бойко, что ему уже незачем было вмешиваться в мелочи практики; более того, иногда фюреру приходилось ради сиюминутного политического интереса придерживать слишком прытких приверженцев: в 1938 году он изгнал евреев из государственных учреждений несколько мягче, чем предлагали соратники; они в 1937 году захотели отметить одежду евреев позорящим знаком – он его ввёл только в 1941-м. Но все шаги на пути «окончательного решения» – от Гитлера, по его воле. В Трагедии он – неумолкающий «голос певца за сценой», ведущий голос. А подробности он с ноября 1938 года поручил Герингу, Гиммлеру и Гейдриху.

Гений разрушения и убийства, покоритель толпы («Хочу ребёнка от фюрера!» – вопили женщины), неудавшийся художник и великий вождь, Гитлер ошеломлял то зажигательной речью, то истерикой, а то извержением газов из слабого нутра. Внешне: невысок, невиден, усики, косая чёлка... Вегетарианец.

Совершенной противоположностью ему кажется *Герман Геринг* – долгое время «человек № 2» в гитлеровском государстве, президент *рейхстага* (парламента), председатель совета министров, командующий войсками СА, генерал СС, официально ответственный за «решение еврейского вопроса» (вначале «решение», потом «полное решение», ещё позднее «окончательное»). Он толст, усыпан орденами, большой любитель поесть-попить, и

женщин, и картин, и охоты... В прошлом боевой лётчик, отнюдь не из худших. Говорил о себе, что не антисемит, дружит с полуевреем. В Нюрнберге 1946-го года, на пороге смертного приговора мог заявить: «Мы немцы – все бандиты» и ещё хлеще: «Я почёл бы за честь воевать вместе с евреями против англичан».

Генрих Гиммлер – *рейхсфюрер* (главнокомандующий) СС и министр внутренних дел Германии. Ему подчинялась гестапо – тайная государственная полиция, преследовавшая евреев.

Сторонясь крайней ответственности, он сумел, однако, в разгаре войны занять герингово место второго человека в Германии.

Воспитанный в истовой религиозности, сменил веру в Христа на веру в астрологию. Хороший семьянин и животных очень любил, жалел; ненавидел охотников: «Они же просто убийцы».

«Истребление евреев – славная страница нашей истории», - сказал Гиммлер своим эсэсовцам в октябре 1943 года.

Рейнхардт Гейдрих – руководитель Главного управления государственной безопасности (RSHA).

«Человек с железным сердцем» по определению Гитлера. Единственная слабость – женщины: в двадцатые годы морскому офицеру Гейдриху пришлось подать в отставку из-за обвинений суда чести в «недостойном поведении, особенно по отношению к женщинам».

Из интеллигентной семьи, образован, прекрасно играл на скрипке. Нордический красавец, образец арийца, хотя проходил проверку в связи с подозрениями в нечистоте крови (Гейдрих или Хайдрих – псевдоним отца, швейцарского музыковеда, а дед по отцу был Зюсс).

Адольф Эйхман – руководитель специального отдела в RSHA, «реферата IV В4», созданного для проведения в жизнь (в смерть?) «решения еврейского вопроса».

Примечателен отсутствием примет. Аккуратный добросовестный чиновник: дотошно изучал порученное дело, ездил в Палестину, учил иврит. На досуге поигрывал в шахматы и, подобно своему начальнику Гейдриху, на скрипке.

2.Исполнители.

Специальные отряды СС – айнцагруппы для уничтожения «комиссаров и евреев» на территориях СССР (4 группы: А – Прибалтика, В – Белоруссия, С и D – Украина; в каждой 500-900 солдат, всего 3000). Кроме того, в Европе действовала айнцагруппа *Рейнхардт*.

Части СС, которые управляли концентрационными лагерями, и *войска СС*, помогавшие айнцагруппам, когда те не справлялись.

Немецкая армия – вермахт, во многих местах прямой соучастник истребления.

Немецкая полиция и подчинённые ей, а иногда вермахту *местные полицейские части*.

Население оккупированных территорий – как в рядах полиции, своей и немецкой, так и самостоятельные энтузиасты: кто немцам служа и прислуживая, кто из корысти, кто личные счёты сводя, кто из идеи. Участие «своих»: земляков, друзей, соседей, сослуживцев, соучеников – заслуживает особого внимания.

К примеру, в конце 1942 года в немецкой *полиции порядка* на территории Прибалтики служили 4428 немцев и 55562 местных добровольца (соотношение 1:12); на Украине и того хлеще: 1 к 15 (около 10 тысяч

немецких полицейских и 150 тысяч украинских). Кроме того германской армии и полиции подчинялись 170 подвижных полицейских отрядов из местных жителей и бывших советских военнопленных. Это всё списочный, так сказать, состав. А кто сочтёт желающих поучаствовать ради грабежа, ради «золота еврейского» или квартиры, или хаты, или одежды? Охотники девочкой еврейской побаловаться, дети-наводчики в поисках премиальной конфетки, алкаши, которым за поимку еврея обещан самогон (Украина) или три литра водки (Польша). Они не на авансцене, они в глубине, они – хор, ведущий действие. Но на чёрном их фоне ослепительно выделяются

3. Подвижники сопротивления,

те, кто спасал евреев, кто воевал с нацизмом, кто оставался человеком на краю ямы и на пороге газовой камеры. Какая пьеса без положительных героев?..

А ещё в Трагедии

4. Евреи,

шесть миллионов жертв, по всему пространству сцены-Европы клубятся их тени, дымно, глухо, могильно застилают

ПРОЛОГ

30 января 1933 года Гитлер стал *рейхсканцлером* Германии – главой правительства. Нацисты ещё не имели большинства в рейхстаге: 37 % голосов на выборах ноября 1932 года, а социал-демократы с коммунистами 44,5 %. Поджог здания Рейхстага 27 февраля 1933 года и обвинение в этом коммунистов дали им на выборах 5 марта 1933 года примерное равенство с левыми (288 мандатов из 647). А блок с другими правыми партиями и арест 81 депутата-коммуниста позволили нацистам к маю 1933 года

получить в рейхстаге 90% голосов. Германия стала их государством – государством антисемитов.

За евреев они взялись сразу же. Пока не «уничтожить», пока только «устранить». 9-10 марта волна антиеврейских выступлений штурмовиков, 1 апреля – экономический бойкот, затем изгнание евреев с государственной службы (7 апреля), из учреждений медицины (22 апреля), искусства (29 апреля), прессы (17 октября). В апреле 1933 года евреям запретили ритуальный убой животных, 10 мая ввели процентную норму студентов-евреев (менее 1 процента).

Отвлекаясь от евреев в 1934 году внутренней грызнёй и резнёй (*Ночь длинных ножей* 30 июня) да в 1936-м, ещё боясь заграничного мнения и в Олимпийские Игры играя, нацисты в остальные предвоенные годы не изменяли своей ведущей теме. Под аккомпанемент юдофобской пропаганды – она всё нарастала и всё более ласкала немецкую душу. В 1935 году евреев выбросили из армии (96 тысяч их воевало за Германию в Первую мировую войну, 12 тысяч пало) и приняли 15 сентября Нюрнбергские законы, по которым евреи оказались вне закона.

Покатилось: евреям запретили любую работу чиновниками (1937 год), врачами и юристами (1938). Евреи не могли жить в одних домах с арийцами. С октября 1938 года началась *аризация* еврейских предприятий – передача их «арийским» хозяевам с выплатой компенсации в несколько процентов от стоимости (а имущества-то было на 7 миллиардов марок). В 1938 году еврейские имена получили обязательную добавку: «Израиль» у мужчин, «Сарра» у женщин. Паспорта евреев имели пометку «J» (о том и либеральная Швейцария просила Гитлера: чтобы не пускать к себе помеченных). 15 июня 1938 года около

1,5 тысяч евреев были отправлены в концентрационные лагеря.

Всё это делалось для «добровольного» удаления евреев из Германии и присоединённой к ней с марта 1938 года Австрии. В августе в Вене открылось Управление по вопросам эмиграции евреев – руководитель Эйхман. И евреи поехали вон. Нехотя,

а нацистам не терпелось. 28 октября 1938 года жившие в Германии 17 тысяч польских евреев были высланы в Польшу, которая их не приняла. Они мыкались под открытым осенне-мокрым небом на границе у города Збашин, пока польское правительство не снизошло их впустить. Семнадцатилетний сын одного из них, Гершель Гриншпан, живший в Париже, в отместку убил там секретаря германского посольства фон Рата. Нацисты воспользовались этим для организации первого массового еврейского погрома: в *Хрустальную ночь* с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии был убит 91 еврей, 21 тысяча вывезена в концлагеря, разбиты и сожжены сотни еврейских синагог и домов.

Теперь евреи побежали живее. А им ещё поддали: 21 января Геринг приказал принять «все меры для ускорения эмиграции евреев» Гейдрих возглавил Центральное бюро по делам еврейской эмиграции. 4 июля было создано Объединение евреев Германии, обязанное способствовать эмиграции (прообраз будущих *Юденратов*?). Гестапо отбирало у евреев имущество, заставляя их эмигрировать. Куда? К кому??

В мае 1939 года 907 немецких евреев с кубинскими визами прибыли в Гавану на корабле «Сан Луи». Куба отказалась их принять. Корабль пошёл в Майами – госдепартамент США велел не допускать на берег

даже тех, кто прыгнет за борт и попытается добраться вплавь. «Сан Луи» вернулся в Европу.

Великобритания в том же году ограничила въезд евреев в Палестину пятнадцатью тысячами в год. Что касается иных стран, то в июле 1938 года в швейцарском городе Эвиане около 200 представителей 32 стран Америки и Европы собрались на «Конференцию по делам беженцев». Обсуждалось предложение увеличить приём гонимых из Германии и Австрии евреев в другие государства. Конференция окончилась ничем. Одна Доминиканская республика согласилась на въезд ста тысяч евреев: ей требовались рабочие руки.

И тем не менее дело пошло. Накануне Второй Мировой войны на территории Германии с присоединёнными к ней Австрией и частью Чехословакии (с 1938 г.) осталась половина из 850 тысяч евреев, живших там в начале 1930-х годов.

Начало мировой войны – в Трагедии

ПЕРВЫЙ АКТ

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, 3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии.

Вождённая Гитлером война! Немцы летят от победы к победе! За полтора года ими заняты Польша (27.09.1939), Дания, Голландия, Бельгия, Норвегия (все в 1940), Югославия и Греция (обе в апреле 1941). Почти все остальные страны Европы примыкают к Германии. Сталин с Гитлером в союзе и дружбе с 23 августа 1939 года...

Звёздный час нацизма. У Гитлера гигантская сила, гигантская власть, миллионы безоружных евреев, и кого теперь бояться, на кого оглядываться? Творить мечту! Немедля!

В 1938 году, загодя, они создали айнзацгруппы СС для выполнения «специальных задач» по уничтожению политических противников и евреев. И не успела ещё Польша пасть, а уже 12 сентября 1939 года на совещании у Гитлера решено истребить всех польских евреев. 21 сентября Гейдрих молнирует начальникам айнзацгрупп инструкцию: **«Еврейский вопрос на оккупированных территориях».**

Это уже – программа. Предварительная, но добротной немецкой, с умом и тщанием, выделки. Гейдрих ли автор, штаб ли его, высочайшее ли совещание, на которое он здесь же ссылается, – все, должно быть, расстарались и вышло на заглядение: чётко, логично, содержательно. Красавец Гейдрих, думается, получал удовольствие, посылая свою молнию.

Прежде всего он предупредил: «Запланированные тотальные меры (т. е. конечная цель) должны держаться в строгом секрете». За каждым словом – сюжет. «Запланированные» – значит, всё подготовлено, продумано, есть план – руководство к действию. «Тотальные» – глобального масштаба, всеохватывающие меры, вот они в скобках расшифрованы: «конечная цель» – венец наших усилий, господа эсэсовцы, осознайте свою ответственность и своё величие. «В строгом секрете» – это, прежде всего, удобство: убивать исподтишка, со спины, способнее, чем в глаза глядя. И в будущем инициативные исполнители сообразят внутри Трагедии свой спектакль, театр в театре, чтобы жертвам идти в баню, а попадать в газ, выезжать к месту работы, а выгружаться на краю могилы под ствол пулемёта. Пока опомнишься – труп. Другая выгода – психологическая: тайна красива и романтична. Как чёрный мундир СС с серебряными

значками, как названия их операций вроде *Хрустальная ночь* или *Мрак и туман* (исчезновение неугодных). Секретность – это для посвящённого приобщение к элите, к избранности, к почти божественной власти распорядиться миллионами жизней, погасить их загадочно... Сверх всего, в потёмках тайны поди-ка потом высвети убийцу. Шитокрыто, наших нет... Секретность!..

Далее Гейдрих на случай возможного недопонимания и нетерпеливости эсэсовских романтиков растолковывает, что конечная цель требует много времени (вон их сколько, евреев, в одночасье не управиться), поэтому идти к ней надо стадиями, «которые будут осуществляться в короткие периоды времени». Не торопясь, но поспешать.

Гейдрих предупреждает: «Запланированные меры требуют самой тщательной подготовки в отношении их технического и экономического аспекта». Не ляп-тяп, значит, а прикиньте, господа, как побыстрее и подешевле: возить жертвы поближе, убивать без заминок, нужных евреев поначалу не трогать, отобранные вещи сберечь неразворванными – вопросы, вопросы, он, Гейдрих, в детали вдаваться не может, он побуждает «начальников айнцагрупп выработать практические соображения». Вперёд, тевтоны, вам карты в руки!

На том кончается руководящее предисловие, и Гейдрих диктует первую стадию: **«Концентрация евреев сельской местности в больших городах»**. Конкретно рекомендуется: действовать быстро, евреев собирать на железнодорожных узлах или станциях (в уме явно дальнейшая перевозка), образовать еврейские Советы (*Юденраты*) для содействия германским властям. Подробно определены функции Юденратов: регистрация евреев, их эвакуация и размещение,

питание в дороге и так далее. Юденраты должны состоять из авторитетных людей (раввинов, врачей и т.п.), которые а) могут воздействовать на евреев и б) хороши в качестве заложников.

Всё предусмотрено в инструкции. И комендантский час в новых гетто, и, где нужно, временное сохранение евреев-торговцев для снабжения немецкой армии, как и евреев на военных производствах, и передача еврейских предприятий и земли немцам «или даже польским крестьянам», и периодическая отчётность, и формы её. «Начальники соседних айнзацгрупп должны немедленно установить контакт друг с другом, чтобы полностью покрыть обсуждаемый район» – это завершающая фраза, гимн немецкой обстоятельности.

Убийственные еврейские резервации очень обдуманно создавались именно в Польше, самой еврейски заселённой стране Европы (три миллиона): и ехать за смертью недалеко и поляки охотнее, чем жители Западной Европы, поспособят освобождению от евреев.

Окупированная Польша, верно, в общем не подвела. Началось по немецкой модели – с преследования евреев: отметка на одежде, запрет пользоваться общественным транспортом и зданиями, ходить по тротуару, менять место жительства (где оно, времечко эмиграции?); штрафы, налоги, конфискации, заложники-гаранты еврейской покорности... Трудовая повинность для евреев от 14 до 60 лет: проклёвывалась продуктивная идея «убийства трудом».

А европейских евреев тем временем уже повезли. Ещё до гетто и лагерей, сразу после директивы Гейдриха, 12 октября 1939 года начался вывоз евреев из Вены и Чехословакии в польский район Ниско возле Люблина. Они, а потом их германские собратья прибывали в пустынную гнилую местность, чтобы без

пищи и крова погибать от болезней, издевательств и труда по строительству будущего концлагеря. Задуманная там *Люблинская резервация* для массового вымаривания голодом и трудом была похерена нацистским руководством в апреле 1940 года по экономическим соображениям: в евреях ещё нуждались.

Так же не состоялся и план создания концлагеря для 4 миллионов евреев на острове Мадагаскар, перешедшем к Германии вместе с оккупированной Францией. Здесь, в убийственном климате и голоде евреи, по мысли Гитлера, вымирали бы самостоятельно и достаточно неспешно, чтобы быть заложниками для «хорошего поведения» американского еврейства. Тонкий замысел, он уже прямой переход от изоляции к массовому уничтожению. Но везти в такую даль накладно, к тому же у Гитлера не вышло помириться с Англией, а без такого мира нечего заигрывать с Америкой – война до конца. И Мадагаскар был отставлен. Тем более, что уже разрабатывался *Барбаросса* – план нападения на Советский Союз, а там фюрера ждали новые миллионы евреев.

Директива от 21 сентября 1939 года не ошибалась: одним махом проблему не решить, давайте по стадиям, от гетто начиная, от собирания евреев кучно.

Первое гетто возникло в польском Петркуве Трибунальском 28 ноября 1939 года. На следующий день Гиммлер приказывает карать евреев смертью за отказ переселяться. Пошло-поехало. В многочисленных гетто сгоняли евреев как местных, так и окрестных.

Не всегда и гнать приходилось. Если например, в городском доме, сплошь евреями набитом, запретить выход на улицу, а потом заколотить единственный

домовой туалет во дворе, да раз-другой наведаются громилы-грабители с улицы – тут стена гетто покажется спасительной оградой. И шли туда, бывало, евреи сами, даже с охотой шли – под крыло немецкого «порядка» от буйства местной черни.

О переселении предупреждали за день или за несколько часов. С собой разрешалась только ручная кладь. Под гетто отводились самые трущобные районы, селили иногда две-три семьи в одну комнату. Питание: среднестатистический варшавский еврей ел в гетто в два раза меньше, чем узник концлагеря или ребёнок в блокадном Ленинграде; на улице лодзинского гетто можно было увидеть труп с дохлой вороной, недонесенной к раскрытому рту...

Скученность, безработица, голод, холод, болезни – люди в гетто вымирали тысячами. Юденраты лавировали под немецкой пятой в отчаянных потугах выжить. Евреи создавали тайные курсы и школы, библиотеки, бесплатные столовые, делали противотифозные прививки, отправляли религиозные обряды, ставили спектакли, где-то пел хор сирот – люди боролись за человеческий облик. Тратили себя подвижники, жировали подонки, молодёжь уходила в подполье для смертельного боя – страшная, но шла жизнь. А немцам требовалась смерть, и они гнали и гнали людей в гибельные западни. 1 мая 1940 года закупорилось гетто Лодзи (160 тысяч евреев), 15 ноября – гетто Варшавы (полмиллиона).

Одновременно создавались *трудовые лагеря*, где оторванные от семей рабочие непосильно трудились от восхода до заката. Свирепствовали надзиратели, условия здесь были ещё хуже, чем в гетто, – и смерть косила резвее.

Вдали от Польши, в покорённых странах гитлеровцы раскручивали ту же карусель. Евреев

преследовали, вводили расовые законы, гнали в концлагеря, в восточные гетто, в *труд до смерти* (появился такой термин у нацистов). Местные власти и население иногда сотрудничали с немцами, иногда протестовали, иногда самоотверженно защищали евреев. Голландцы, например, на антиеврейские мероприятия ответили 25 февраля 1941 года всеобщей забастовкой, кроваво подавленной.

Худо было евреям, очень худо, но в голову всё-таки не приходило, что они не просто притесняемы, изгоняемы из бытия Европы – они на пороге своего конца. Потому что планируя войну с Советским Союзом, Германия нацелилась приступить к «окончательному решению». 24 февраля 1941 года Гитлер поручил СС подготовиться к массовому убийству евреев после вторжения в СССР.

13 марта 1941 года командование вермахта секретной директивой № 21 наметнуло армии, что в будущей войне на русской территории надо действовать вне рамок международного права и что СС будет независимо от армии выполнять особые задачи. То есть в России «всё разрешено» армии, а СС и сверх того всё можно.

В апреле-мае комплектовались айнзацгруппы и их Управление (штаб) при рейхсфюрере СС Гиммлере.

В конце мая В. Шелленберг, замещавший тогда Гейдриха, подписал циркуляр полиции безопасности о запрете еврейской эмиграции из Франции и Бельгии «ввиду ближайшего окончательного решения еврейского вопроса». (После войны Шелленберг сумел заверить, что не занимался евреями, разве что поспособствовал спасению некоторых из концлагерей; ну, не палочка ли выручалочка – секретность?).

Приказами от 13 и 19 мая 1941 г. начальник штаба вермахта Кейтель разъяснил, что в СССР надо

беспощадно, «с применением крайних мер» уничтожать всех противников, включая подозреваемых, и эти действия «не обязательно» подсудны даже если они – воинское преступление. Объектами «тотального подавления» названы «большевистские агитаторы, партизаны, саботажники и евреи». 6 июня Гейдрих подписал «**Приказ о комиссарах**»: «Меры против них должны приниматься немедленно, без рассуждений и со всей строгостью». Офицерам СС он на специальном совещании в Саксонии растолковал, что это касается всех коммунистов и евреев – их надо истреблять.

Через 16 дней, 22 июня 1941 года, окрылённые этими указаниями немцы ворвались в Советский Союз, где тогда жило больше пяти миллионов евреев. Кто-то из них на фронт ушёл, кто-то эвакуировался, а почти три миллиона евреев накрыла тьма Трагедии, её

ВТОРОЙ АКТ

Вермахт пошёл на восток привычно: победоносно. За передовыми частями – айнзацгруппы. Их работа начиналась без проволочек, сразу после оккупации.

Олендорф (начальник айнзацгруппы, показания на послевоенном суде):

Часть входила в деревню или город. Приказывали старостам собрать евреев в одно место. ...якобы под предлогом переселения. Евреев просили оставить ценные вещи у командиров подразделения. Затем их перевозили к месту казни. ... Как правило, это был противотанковый ров или просто яма... Их привозили на грузовиках... причём столько, сколько можно было казнить немедленно. Всё производилось по возможности быстро, т.е. промежуток между казнью и

осознанием, что это совершится, был очень незначителен.

Олендорф, вероятно, хотел перед своими судьями подчеркнуть «гуманность» расстрела. Но главное: скорость и секретность не давали жертвам опомниться для сопротивления. Впрочем, на советской территории особенно опасаться не приходилось: боеспособные мужчины почти все были в армии. К тому же евреев перед казнью, как правило, заставляли раздеваться, а голому против автомата тем более никак. И убивали немцы обычно в удобном порядке: сперва где-нибудь поодаль от гетто мужчин, вывезя их вроде бы для работы, спустя же месяц-другой – детей и женщин, вовсе беззащитных. Отлаженная технология...

Она варьировалась: «Всех еврейских мужчин казнить [расстрелять], женщин и детей загнать в болота [утопить]» – гиммлеровский приказ в начале августа 1941 года о первом поголовном уничтожении евреев большого города (Пинск, 11 тысяч человек).

При творческом подходе осуществлялись различные идеи, иногда незаурядные: замуровывание заживо в каменоломнях (Крым) или в винных погребах (Сатанов, Украина), сбрасывание в шахты (Донбасс), сожжение за два дня в артиллерийских складах больше 20 тысяч человек (Одесса, румыны отличились)...

Анатолий О-чук (украинец, односельчанин евреев, убитых на Волыни, Польша):

В Воротнове узники выкопали 3 траншеи шириной 10 м и длиной 100 м каждая. Детей, женщин и стариков укладывали рядами и прострачивали из автоматов. Каждый ряд ложили головой в другую сторону. Убито было 28 тыс. человек. Закапывать согнали местных жителей.

Догадались: каждый для верности прострелен дважды без лишних патронов. В других местах выстраивали казнимых в затылок, одной пулей экономно пробивая несколько спин.

В Лиепе (Латвия) на склоне общей могилы устроили узкую приступочку для жертв, даже недостреленные рушились вниз сами – не надо и хоронить-маяться, время терять...

Иначе зачем человеку голова на плечах, если не для придумок толковых? Английский юрист Э. Рассел в книге «Проклятие свастики» приводит свидетельство очевидца о том, как гестаповцы заставляли евреев прыгать в яму с негашёной известью, а затем закачивали туда воду. Лорд Рассел прерывает цитирование словами: «Дальнейшая часть рассказа очевидца настолько ужасна, что её невозможно напечатать».

В 1941 году появились *душегубки* – крытые машины с красным крестом «скорой помощи» – в них евреев по дороге травили угарным газом от двигателя машин, так что ко рву или яме приезжали уже готовые трупы. Гуманнее даже, чем олендорфовский скоростной расстрел.

Олендорф вот ещё что показал: «В моей оперативной группе было примерно 500 человек, не считая тех, кто привлекался как вспомогательная сила из местных жителей».

На местных сто́ит остановиться. Их не сотни, а **сотни тысяч**: идейные юдофобы, фашисты, немецкие пособники, просто мародёры и уголовники... Они привнесли в немецкую отлаженную систему расстрелов и душегубок поразительную изобретательность. Народная смекалка, распалённая злобой, корыстью, мстительностью, алкоголем,

разнообразные рождала находки, вроде (свидетельства очевидцев): «старика подвесили вниз головой и медленно обматывали верёвкой, а под головой стояло ведро с кровью» (Украина, Каменец-Подольский) или «зашили кошку в живот» (Климовичи, Белоруссия).

Преемственность, от Богдана ещё, от Хмельницкого. В тех же традициях погромы, которые устраивало местное население, иногда в первые дни оккупации – ещё и айнзацгруппы не успевали развернуться. В Каунасе уже до прихода немцев (24 июня) литовцы начали убивать евреев – в несколько дней уничтожено 3800 человек, сожжены десятки еврейских домов и синагог; во Львове 30 июня – 3 июля убито 4000 евреев.

Немцам такая помощь была очень кстати. Они её и создавали умело. Во Львове (это снято немецкой кинохроникой) населению в первый день оккупации предъявили для опознания трупы узников, убитых советскими карательными органами перед бегством, и объяснили, что убийцы – евреи. На следующий день начался погром. Тот же сюжет отыграли после взятия немцами других мест.

Организационные усилия оправдывались с лихвой. Очень обычное положение описано **Тамарой Т.**, свидетельствующей о гибели родственника в Радомышле (Украина): «убит немцами и полицаями, несколько немцев и очень много полицаев». Во многих местечках и деревнях евреев вылавливали и истребляли земляки без всякого участия немцев.

Не оставалась в стороне и армия. До сих пор многие бывшие генералы вермахта отмывают воинскую честь: мол, они не знали об уничтожении евреев... Но именно военные власти, захватив населённый пункт, издавали приказы о регистрации евреев, о создании гетто, о принудительных работах

евреев; армия обеспечивала айнзацгруппы материалами и техникой, а иногда и напрямую соучаствовала в расстрелах, как в гор. Кодыма Одесской области, где по приказу командира корпуса генерала Зальмута триста его солдат вместе с эсэсовцами перебили всех евреев.

В Сталинграде, по свидетельству очевидцев, в октябре 1942 года немцами расстреляна семья Сребник: мальчики Вова и Женя, пяти и семи лет, их мама Надежда, тётя Аля и бабушка Серафима. Это никакие не айнзацгруппы, это армия славного германского полководца фон-Паулюса, она вошла в Сталинград 14 сентября.

Случалось, военные для своих нужд сохраняли сколько-то евреев-специалистов, но условия их содержания (часто под охраной солдат) неминуемо вели к смерти.

Совместную деятельность убийц отметили гигантские, в десятки тысяч трупов, могилы: Бабий Яр в Киеве (29-30 сентября 1941 года расстрелян по немецким подсчётам 33771 еврей, потом ещё стреляли и неизвестно, сколько всех, до 150 тысяч по советским данным), Дробицкий Яр в Харькове (26 декабря 15 тысяч), Понары близ Вильнюса (45 тысяч), Девятый форт в Каунасе (18 тысяч), Румбуле возле Риги (25-28 тысяч за две акции 30 ноября и 7-9 декабря), Тучинка около Минска (30 тысяч), Киселевичи под Бобруйском (20 тысяч), Ровно (6-8 ноября, 23 тысячи), Церковщина возле Витебска (до 20 тысяч), Богдановка Одесской области (21-31 декабря, 50 тысяч) и ещё, и ещё...

Цифры приблизительные – что за точность в неразберихе войны и убийства? – и почти все за 1941-й год, а могилы наполнялись и в 1942-м и кое-где в 1943-м (Ростов, 16 тысяч).

К концу осени и зимой 1941-42 года истребление приостановилось: тяжёлые осенние дороги, например, затрудняли перевозку евреев в Белоруссии (жаловался тамошний начальник айнзацгруппы Шталекер), рыть могилы в мёрзлой земле хлопотно... К тому же наступление немцев в России теряло напор и в тылу германской армии оккупационным властям требовалась рабочая сила. СС протестовала, но смирилась.

Согнанные в гетто советские евреи должны были работать на Германию и попутно вымирать от голода, холода и болезней. В несколько гетто (Минск, Рига, Каунас и др.) направляли также евреев из Германии, Австрии и Протектората Богемия-Моравия. Это было частью общей программы уничтожения, она по ходу дела уточнялась. Уже через десять дней после начала войны с СССР высшим начальникам СС на советских территориях Гейдрих снова указал евреев среди «подлежащих экзекуции» (директива от 2.07.1941). Штаб войск тыла армии 25 июля опять предостерег командиров от «снисходительности» и «слабости» по отношению к «представителям еврейско-большевистской системы». Последовали также приказ Розенберга (рейхсминистр оккупированных Восточных территорий) о принудительном труде евреев 14-60 лет (16 августа), приказ по армии от 12 сентября о борьбе «в первую очередь против евреев как главных носителей большевизма» и другие соответствующие распоряжения.

31 июля 1941 года Геринг приказал Гейдриху подготовиться к «всеобщему решению еврейского вопроса на территории Европы» и представить план «мероприятий по осуществлению окончательного решения еврейского вопроса».

20 января 1942 года в пригороде Берлина Гросс-Ванзее Гейдрих созвал совещание высших чиновников СС и ведомств, причастных к делу. Гейдрих сообщил, что с одобрения фюрера отныне эмиграция европейских евреев заменяется эвакуацией на восток. Гейдрих ещё говорил о работе эвакуированных, но уже ясно употреблял слова «часть их будет, несомненно, уничтожена», а выжившие в принудительном труде «будут подвергнуты соответствующему обращению, поскольку вследствие естественного отбора» они особенно опасны.

Совещание, скрупулёзно подсчитав по странам, определило объём предстоящей работы: 11 миллионов евреев. Они ошиблись: в Европе жило 9 миллионов, но с прицелом на невыявленных они, наверно, не зря подстраховывались. Обсудили и очень беспокойную проблему: кого считать евреем. После дебатов гуманно решили сохранять в отдельных случаях жизнь полукровкам, но стерилизуя их, дабы избежать распространения еврейской заразы. (Эта гуманность позднее не касалась полукровок на русской территории; славянская половина крови была, видимо, водянистее немецкой – поэтому здесь метисы уничтожались).

Итак, определились. И кстати подоспели наиболее совершенные способы убийства.

Прежние методы для вымечтанного нацистами скорого «обезлюживания» не годились: пули дороги, душегубки не тянули убить миллионы, гетто вымирали слишком неторопливо, кустарщина сожжений и погромов не отвечала ни требованиям технической цивилизации двадцатого века, ни нетерпению гитлеровцев. К концу декабря 1942 года по отчётам СС на советской земле они убили 910091 еврея – меньше миллиона за целых полтора года. Требовался новый поиск.

В 1941 году Гиммлер вызвал в Берлин коменданта концлагеря Аушвиц (Освенцим) Р. Гесса и поручил ему превратить лагерь в промышленное предприятие смерти. Основа производства – технология. Гесс с подчинёнными мучительно искали наиболее эффективный способ убийства, пока не осенило: «Циклон-Б» – газообразное производное синильной кислоты, им травили насекомых. 3 сентября сорок первого года его опробовали на людях – полный успех.

Уничтожение евреев газом было давней, со времён Первой мировой войны, идеей Гитлера. Имелся и опыт: в 1939-41 годах нацисты ради чистоты арийской расы извели в газовых камерах десятки тысяч «неполноценных» – неизлечимо больных немцев. Теперь настало время развернуться

ТРЕТЬЕМУ АКТУ –

промышленному истреблению, конвейеру смерти, когда убийство поставлено на поток по последнему слову мировой техники.

На территории Польши создаются *лагеря уничтожения*. 8 декабря 1941 года в Хелмно около Лодзи начали убивать евреев в душегубках, перевоза якобы в баню. С 1942 года для истребления двух миллионов польских евреев (*Операция Рейнхардт*) заработали три новых лагеря: Белжец (март), Собибор (май) и Трешлинка (июль) – все оборудованные камерами, в которые закачивали выхлопные газы от грузовиков; каждый лагерь обслуживало 25-30 немцев и 90-120 украинцев-военнопленных, специально обученных в лагере СС Травники возле Люблина.

Рядом с Люблином с 1941 года существовал концлагерь Майданек; в 1942 году и его дооборудовали газовыми камерами до кондиций

лагеря смерти. Ту же функцию с 1943 года исполнял концлагерь Штутгоф после ликвидации лагерей в Трешлинке и Собиборе в результате восстаний их заключённых и после закрытия «отработавшего» лагеря в Белжце.

Грандиозным комбинатом смерти стала система концлагерей Освенцим во главе с лагерями Аушвиц и Биркенау (Бжезинка). С марта 1942 года запущенные в эксплуатацию пять газовых камер Освенцима по расчётам вдохновенных проектировщиков могли ежедневно травить газом «Циклон-Б» до 60 тысяч человек (восторг германской инженерной мысли!). При камерах располагались крематории, пропускавшие 8 тысяч трупов в сутки. Некремированные *фигуры* (ещё один эсэсовский термин) сжигали на кострах в лесу.

В 1942 году все фабрики смерти начали заглот евреев. Из европейских гетто и пересыльных лагерей – накопителей еврейского люда – покатили поезда в распахнутые пасти лагерных ворот. На воротах, дуря новоприбывших, обманно писали «Труд делает свободным» (Аушвиц), а за воротами комендант говорил при встрече: «Здесь евреи не имеют права жить больше двух недель» («...ксёндзы могут жить один месяц, остальные три месяца», - добавлял он, и это снова подтверждает универсальность Катастрофы, всеобщность «окончательного решения»).

Поезда подкатывали к платформе, где прибывших, кто не умер в пути от голода, жажды, тесноты, жары или мороза, – выбрасывали на делёжку: малую толику оставляли умирать в лагере от мук и труда, большинство гнали в газ. Затем ещё живые перебрасывали уже мёртвых в крематорные печи, и евреи возвращались в мир только дымом, только пеплом и золой, только золотом зубов, вырванных из

покойников, только волосами, состриженными с женщин в преддверии газовых камер.

Всё шло в дело в этой промышленности, всё на пользу СС и Великой Германии: не только отобранные у жертв драгоценности и вещи, самоё человек, Божественное создание, как выяснилось, при умелом подходе утилизируется почти стопроцентно. Золотые зубы переплавляли в слитки, в Освенциме плавка давала до 12 килограмм в сутки (те слитки не хранятся ли до сих пор в каких-нибудь надёжных банках?). Куски татуированной кожи шли на безделушки и абажуры. Из трупов вываривали технические масла и мыло, биологи, сберегая конину, готовили питательные бульоны для бактерий. Кости размалывали на муку для технических нужд, человеческим пеплом удобряли поля и засыпали болота. Женские волосы перерабатывали в фетр и портняжный волос, а чаще использовали для набивки матрацев (не спит ли кто и сейчас на стареньком матрацке с человечинной внутри?). Сушили волосы на чердаках крематориев – использовали тепло от печей...

Чудо как всё было организовано!.. К примеру, в некоторых поездах из Венгрии евреи были заранее разделены по возрасту и полу – это облегчало селекцию прибывших.

А упомянутый уже театр в театре – как он здесь разрежиссировался, как разыгрался! Жертвы до конца не знали конца, их доверчивость избавляла палачей от хлопот гасить сопротивление. Едущих заверяли, что их ждёт новая жизнь и место работы. Иногда предупреждали, что будет холодно, просили запастись дровами, и евреи везли с собой вязанки дров, на которых затем жгли их же трупы. В Аушвице оставленных жить заставляли писать родным

открытки из мифического города Вальдзе: «Нам здесь хорошо. Приезжайте» – а потом написавший с ужасом узнавал на освенцимской платформе своего отца. В Треблинке люди, прибыв на вокзал, видели мирный перрон, кассы, расписание поездов на Вену и Гродно, добродушную службу, приглашавшую раздеться перед душем («Аккуратно, пожалуйста, чтобы вам потом не дай Бог не перепутать детские ботиночки») – а голыми выйдя к мытью, вдруг попадали под палку, в собачий лай, в вопль «Быстро! Быстро!», и оглушённые, избиваемые – вихрем в грузовик и – в газ. Споро, чётко.

Ра-ци-о-наль-но.

На чертежах лагерей смерти – выверенная планировка, предусматривающая предельно короткий путь к смерти, парадные порядки бараков и ровные линии проходов, зелёная зона прикрывает крематории – замечательный дизайн, со вкусом вычерчивал его прилежный конструктор в светлом бюро, ненадолго отвлекаясь хлебнуть кофе с пирожным или беззлбно пошутить с коллегой. На совесть, добротню срабатывался проект и осуществлялся так же, с немецкой основательностью.

Фабрики смерти не знали заминок. И благодаря радению нацистов, и потому, что когда сионисты (Нахум Гольдман) просили союзников разбомбить крематории или хотя бы подъездные пути, благородные генералы (Вейвл, заместитель главнокомандующего Эйзенхауэра) отвечали, что правила галантного ведения войны не позволяют им бомбить невоенные объекты. Хотя, между прочим, в лагерях в лад универсальности Катастрофы вместе с евреями умирали военнопленные и узники всех национальностей. Всего же в лагерях смерти было уничтожено (опять-таки примерно): Освенцим – 2 с

половиной миллиона, Треблинка – 750 тысяч, Белжец – 600 тысяч, Хелмно – 300 тысяч, Собибор – 250 тысяч, Майданек – 200 тысяч. Среди этих 4,6 миллиона убитых, наверно, не меньше двух третей – евреи, три с лишним миллиона.

Но тем потери евреев не ограничиваются. Наряду с «промышленным истреблением» продолжалось истребление и в прежних «патриархальных» формах: голодная смерть в гетто, убийство работой, расстрелы, погромы... А на финише, в 1945-м, когда союзники отвоёвывали территории и концлагеря исчезали, немцы организовали *марши смерти* – пешие перегоны узников с места на место, сотни тысяч их трупов устлали тогда дороги.

«Окончательное решение» осуществлялось последовательно и неуклонно, невзирая на извороты войны и ухудшающееся положение Германии. Правда, с нарастающей очевидностью гитлеровского краха росло и сопротивление нацистским планам в подневольных странах. Оно, наряду с прежними актами помощи евреям, привело к спасению многих тысяч евреев Западной Европы. Однако гитлеровская молотилка уничтожения не сбавляла оборотов до самого конца войны.

В середине 1944 года, терпя поражения и испытывая острую нехватку транспорта для обеспечения боевых действий, немцы тем не менее нашли силы и средства организовать высылку в Освенцим 445 тысяч венгерских евреев, а также греческих евреев из Корфу, Родоса и Крита. И Освенцим перемолол их, никакие трудности снабжения топливом или техникой, уже столь чувствительные на фронтах, не касались лагерного механизма, он подпитывался исправно, работал не только бесперебойно, но и наращивал эффективность

и именно в эти дни достиг пика производительности: 24 тысячи убитых в сутки.

Почему?

Почему ещё в начале войны бережливые немцы не жалели пуль расстреливать еврейских беженцев на дорогах вместо того, чтобы дать им сгинуть в восточных далах, навсегда долой с германских глаз? Почему в 1941 году в Первомайске (Украина) подростки Маня и Миля Миропольские, по словам очевидцев, «немецким десантом вывезены на машине за город и расстреляны»? Что, у немецких парашютистов, только-только приземлившись в советских тылах, посреди смертельной опасности не находилось дела важнее, чем немедленное убийство еврейских детей? Куда исчезли немецкие рационализм, практичность, расчётливость, рассудительность? Скажем, мечтавшаяся Гитлеру атомная бомба разве не стала бы куда доступнее, побереги он евреев-ядерщиков? Так же нелепо было удалять евреев-классных профессионалов из медицины или юриспруденции – везде невосполнимые потери, но гитлеровцы почему-то шли на это. В конце войны, когда уже впору стало немцам умолять русских замирились с ними, германский министр иностранных дел Риббентроп отказался вести переговоры, если в советской делегации будет хоть один еврей.

Всё может объясниться, если не считать Гитлера только демагогом, использующим антисемитизм как пропагандистский инструмент. Гитлер – честный и последовательный юдофоб. Он с его метафизикой и комплексами вполне искренне считал, что евреи – воплощение мирового Зла, враги его, Гитлера, арийского человечества и, в первую очередь, немецкого народа. Именно евреи, а не большевизм и марксизм, провозглашённые в его речах первейшими

противниками Германии; историк С. Фридландер приводит любопытные данные по ранним, до «Моей борьбы», писаниям Гитлера: в них слово «евреи» встречается в три раза чаще слов «большевизм» и «марксизм». И в 1919 году, и в 1923-м, и в 1928-м, и всю жизнь свою Гитлер твердил «евреи – главный враг», даже в завещании – уж пистолет у виска держал – **первым** долгом вменял последышам своим: «Боритесь с евреями». В нацистском словаре евреи не только объединялись с сиюминутным врагом, но неизменно выдвигались на **первый** план: «иудео-большевики», «еврейско-англосаксонские поджигатели войны». И когда нацисты обвиняли Англию, что та воюет **за** евреев – здесь была своя логика: мы, нацисты, воюем именно **против** евреев, следовательно, наши противники – **за**.

Привычно думать, что главной целью войн Гитлера было построение мощного германского государства – «тысячелетнего Рейха», а **кроме того** уничтожение евреев. Но если по его убеждению евреи – главное препятствие созданию Великой Германии, то очевидно, что сперва надо устранить подрывную первопричину, а уж после класть кирпичи – меняется очерёдность задач, и цели войны: не 1) Рейх, 2) уничтожение евреев, а наоборот: 1) убрать евреев, 2) строить империю.

Для толпы и в угоду требованиям момента Гитлер мог пренебрежительно определять евреев в паразиты, в зловерные насекомые. (Гиммлер, вторя фюреру, говорил, что с евреями борются, как со вшами). Но в программной работе «Моя борьба» и позднее в неопубликованной книге 1928 года (издана после 1945 г.) Гитлер вполне серьёзно утверждал, что в мире две главные противостоящие расы – немецкая и еврейская, и властвовать над миром той, кто возьмёт верх в их

войне насмерть. Поэтому не столь важна дата прихода нацистов к идее «окончательного решения» как истребительного, она сидела в них изначально, и когда они говорили с двадцатых годов «устранить», «изгнать», «ликвидировать» евреев – то были не оговорки или иносказания, как утешали себя евреи и европейские либералы, – то была точная формулировка цели: физически уничтожить.

Вторая мировая война, по определению израильского учёного И. Бауэра, – «война против евреев в самом серьёзном смысле слова». И когда Гитлер переступал тот порог, за которым хлынула вся еврейская кровь, 22 июня 1941 года, – что грезилось ему: только ли разборка со Сталиным, кому из двух волков пасти Европу, только ли русские пространства для нацистской империи или миллионы советских евреев, готовые к закланию впридачу к европейским? Скоростная война – *блицкриг*: раз-два и в дамки, и все евреи-комиссары, и прочие комиссары, и тем более прочие евреи – в ногах, в грязи, в пыли, в могиле...

С могилой, в общем, получилось. Цифровой итог подводят разно: американский историк Хилбери по немецким данным определил число убитых евреев в 5,1 миллиона, Эйхман похвалялся цифрой в шесть миллионов, а есть подсчёты, дающие 6140500 человек. Как бы то ни было, европейского еврейства как национальной и культурной общности сейчас на деле нет. До Второй мировой войны две трети евреев мира жили в Европе, сегодня – едва пятая часть, да и те забываются в щели ассимиляции. Финал Трагедии.

Впрочем, в утешение

ЭПИЛОГ

Гейдриха убили чешские патриоты в 1942-м, Гитлер и Гиммлер покончили с собой в 1945-м, Геринга и других вождей нацизма осудил на смерть Международный Трибунал в Нюрнберге в 1946 году, Эйхмана казнили в 1961 году в Израиле. Порок хоть как-то да наказан.

В ещё меньшей степени, но всё же торжествует добродетель: нашлись – не один, не сотни, а всё же десятки тысяч! – нашлись люди, кто, себя не жалея, спасал от гибели евреев. Может быть, не всё ещё потеряно?..

З А Н А В Е С

По всем канонам сложилась пьеса. Три действия, пролог, эпилог. Ещё бы название подходящее подобрать.

Слабоват, оказывается, язык...

«Геноцид» – предложено еврейско-польским юристом Р. Лемкиным и принято после Нюрнбергского процесса Главных нацистских преступников в 1946 году. Геноцид определяется как «истребление отдельных групп населения – национальных, религиозных, этнических и расовых». Но, говорят учёные, для **поголовного** и заранее **спланированного** уничтожения народа надо бы навйти другое, отличающее слово. Предложили *Holocaust* – *Холокост* – «всесожжение» по-английски (ещё значение «бойня», «резня» – вовсе расплывчато), однако тут не отражена преднамеренность. И в ивритском слове *Шоа* – «несчастье», «бедствие» – на первом плане как бы стихийность. У «Шоа» есть ещё перевод: «Катастрофа» – греческое слово, означающее переворот, перелом. Переворот, перелом – он тоже может быть неожиданным или случайным, а с

евреями-то было по плану, по людскому расчёту. Но В. Даль растолковывает: «Катастрофа – важное событие, решающее судьбу или дело». И верно: «окончательное решение» решало **судьбу**. Евреев? А цыгане таборные, а гомосексуалисты, а душевнобольные и кого там ещё наметили нацисты в мертвецы? Славян, оставленных «на после»?..

Слово «Шоа» применительно к гитлеровскому «обезлюживанию» впервые, ещё только как сравнение, проскользнуло в 1939 году в документе Еврейского Агентства, описывающем судьбу не одних только евреев, но и поляков. Библейский пророк Цефания (Софония) предрекает день гнева Господня, день *Шоа*: «День скорби и тесноты, опустошения и разорения, тьмы и мрака... Разметана будет кровь их, как прах, и плоть их – как помёт». Тут об евреях в первую очередь, но вот завершение угрозы: «Пожрана будет вся эта земля, ибо истребление совершит Он над всеми жителями земли» (**Софония**, 1-18).

«Вся», «всеми»... Еврейский вопрос – всегда пророчество.

ПОСВЯЩЕНИЕ ВТОРОЕ
или
ИМЕНА

Самоотверженным служителям
Памяти от Мордехая Шенхави
до сегодняшних добровольцев,
призванных не корыстью –
совестью.



Об этой руке из крематорного зева в 1942 году в Палестине не знали. И не хотели знать: далёкая, неслышная здесь война оказывалась для бедного еврейского населения, *шува*, даже в чём-то и благом:

наехавшие английские солдаты взбудрили местную торгово-ремесленную самодеятельность, сытнее стало, веселее. Присутствие британцев уменьшало боязнь арабского ножа, а дружба с Англией подразумевала поддакивание и её пропаганде: Гитлер лжёт, будто мы воюем за евреев; ты, добрый англичанин, дерёшься собственной отчизны ради, а вовсе не ради малоприятного того народца. К тому же только английская армия могла окоротить лучшего германского генерала, со своим африканским корпусом волком рыскающего неподалёку от беззащитного ишува. В общем, местным евреям думать об европейских родственниках было недосуг: самим бы выжить. Доходили из Европы письма, слухи, и в газетах пробивалось, однако – не слушали, не слышали, не верили. Правда грозилась обескураживающей паникой, да и вправду ли она правда, что вы, не знаете манию у них там в галуте делать из мухи слона?!

В самую ту пору, в сентябре 1942 года возник Мордехай Шенхави из *кибуца* (сионистская сельскохозяйственная коммуна) Мишмар а-Эмек с мыслью дать в Палестине место бесприютным душам павших еврейских солдат всех воюющих армий. Стыкуя сионизм с еврейской традицией, придумал Шенхави название своему проекту *Яд ва-Шем* («Память и имя») по слову пророка **Ишayahу (Исайи)**: «Им дам я в доме моём и в стенах моих память и имя, которые не истребятся».

В мае 1945 года, узнав о безмерности еврейской гибели, Шенхави опять разбередил земляков идеей Яд ва-Шем'а, развернув её подробнее прежнего. Через месяц Национальный комитет палестинских евреев (руководство ишува) присоединился к предложению Шенхави создать Мемориал всех погибших в

Катастрофе; в нём предполагались: 1) вечный огонь; 2) собрание имён убитых; 3) памятники погибшим еврейским общинам и евреям-борцам против нацизма; 4) выставка-рассказ об уничтожении и 5) чествование Праведников-спасителей евреев.

В августе 1945-го Шенхави добился: Лондонский конгресс сионистов постановил соорудить в Палестине центр памяти «Яд ва-Шем»; срок – лето 1947 года, место – гора Скопус в Иерусалиме. А пока, в феврале 1946 года, Яд ва-Шем открылся крохотным учреждением в центре Иерусалима и отделением в Тель-Авиве.

В июне 1947 года научная конференция в Еврейском университете в Иерусалиме решила собирать и изучать в Яд ва-Шем'е документы Катастрофы евреев.

Дело шло, в общем, без проволочек, государства у евреев ещё не было, бюрократов, значит, тоже. И неуёмный Шенхави, видимо, не давал покоя...

Перерыв в становлении Мемориала был связан с устроением Государства Израиль, с Войной за независимость, с послевоенной нищетой и беспорядком, с еврейским обыкновением разноголосить по всякому поводу.

Покорители здешней земли в силе и славе своей отрешивались от покорно погибшего «стада на бойне», честь и поминки позволяя лишь бойцам еврейского сопротивления; но как раз один из героев, командир подпольщиков Вильнюса Аба Ковнер одёргивал: несправедливо делить на «герои» – «жертвы», жизнь сложна, тем более еврейская, а Катастрофа и вовсе головоломна.

Ревнителю религии отвергали Мемориал: еврейская память нематериальна, она в ешиве и молитве, «не

сотвори кумира». Споры, уговоры, уступки... Новое государство – итог шести миллионов смертей, решило кланяться им в День Памяти. Когда? Верующим спрашивались 10 день месяца *тевет* по еврейскому календарю, когда читают общую поминальную молитву, или 1 *адара* – день смерти Моисея: у него, как у миллионов убитых, нет могилы. Безбожные сионисты стояли за 19 апреля – день начала восстания варшавского гетто в 1943 году. Поладили: то 19 апреля подходяще выпало на канун еврейского праздника освобождения – Песах, а на восьмой день после субботы пасхальной недели (девятнадцатое *нисана*) начинается еврейский традиционный общий траур – этот день, 27 *нисана* и определили Днём Памяти Катастрофы, *Йом а-Шоа*; по-христиански он приходится каждый год на иную дату.

Неурядицы возникали разные. Национальный Еврейский Фонд (*Керен Каемет*) сажал Лес Памяти, который оказался не в месте, назначенном Яд ва-Шем'у, а на совсем другой горе Иерусалима.

Снова и снова вспыхивали требования почтить только борцов, остальные «умерли и умерли – что тут говорить», как обронил один из политиков. А Мордехаю Шенхави каждый погибший был свой. И он воевал. С 1950-го года, едва чуть-чуть устоялось государство, он дрался за Яд ва-Шем, ссорился с единомышленниками, мирился с противниками, выколачивал деньги, ругался...

Большое дело мягкой ладошкой не слепишь, и что-нибудь, верно, стоит за той странностью, что Шенхави, победив, доведя свой замысел в 1953 году до Государственного Закона о Яд ва-Шем'е – тут же и покинул директорский пост в Мемориале.

А идея его – состоялась. Горит вечный огонь, высятся памятники, стынет скорбь на камнях Долины

Уничтоженных Общин, зеленеет Парк Праведников, работают архив и музеи, выходят научные труды, в черноте Детского мемориала колят сердце искры потушенных душ и вспархивают отзвучавшие имена.

Память и имя. Яд ва-Шем.

Вспомнить распыленных Катастрофой поимённо Шенхави считал первейшим делом; более того, он потребовал числить их гражданами Израиля.

Памятник в честь Шенхави стоит в Яд ва-Шем'е вблизи Зала Имён.

* * * * *

Какой вид! ах, какой вид! ну, ах!...

Небо неоглядно, воздух пронзён солнцем, свет чист... Природа распорядилась, человек поднапрягся – вышло: горбы гор, рыжий накал камней, белая накипь селений, тёмно-зелёные копыя кипарисов, светло-зелёные шары сосен...

Горы гуляют волнами, балуют глаз то оливковой рощей, то мерцанием пруда в распадке, то жёлтыми змеями древних троп, то проплешинами базальта, где нежно-розовыми, где серыми до черноты. Железное кружево: армейских антенн на взгорьях, столбов электропередачи – в низинах... Догола выжженные горные пустыри и кубики домов, одинокие или кучно, открыто солнцу или в тени деревьев... Среди белых крыш вдруг слепит алюминиевая кровля или рдеет пятно черепицы...

Небо, синее в зените, снижаясь, голубеет, светлеет, так что на горизонте синусоида гор уже колышется на откровенно жёлтом фоне – цвет зноя, безжалостного, убийственного... Может быть, оттого и лежат мертво в каменных складках протоптанные невесть когда дороги, теперь пустые, лишь одна проткнулась между

теснин сизым прочерком асфальта и перебирает бусины автомашин – двойник старинного пути от моря, из Яффы, теперь шоссе Тель-Авив – Иерусалим, пуповина, бессонно пульсирующая скоростными потоками, вечное движение, нынешняя суета...

Над нею по горизонту умиротворяющая плавность гор. Справа, торчком в небо минарет и гробница пророка Шмуэля: три тысячи лет тому. Слева – минарету и вопреки и в лад – на вершине горы Хар Адар антенная мачта а рядом угловатая, буквой «П» арка – памятник недавним боевым победам израильтян. Какое там умиротворение в краю войн?..

Соскальзывает взгляд с вершин, от дальних примет покоя и боя, снова тычутся ему навстречу россыпи посёлков, подкатывает пригород, стык ритма гор и коробочных зданий, непритязательных, примитивных, только что цветом-светом золотистым радующих, - но оседлав живописные склоны, они творят буйную панораму неуёмного, подминающего под себя доли и скалы Иерусалима – гимн бессмертию города и народа.

Вглядываюсь в прошлое и сегодняшнее, в трёхтысячелетнюю даль и теперешние войны, в начало и созидание, в таинственную бесконечность еврейского существования – смотрю окрест с горы Памяти во граде Ерушалаиме, а за спиной у меня шесть миллионов убитых евреев, и мемориал Яд ва-Шем, и в нём

Зал Имён.

Яд ва-Шем – «Память и имя». Зал Имён – на иврите *Эйхаль а-Шемот*.

Шем – Имя. Для еврея не просто отличительный признак, в имени сущность человека, основа и идея его жизни, отношение к Богу, природе, Истории. Имена

умерших предков – сперва частично, а после вавилонского плена полностью – повторялись у живых потомков: продолжался род, дышала традиция... Сакральный смысл личных имён восходит непроглядно высоко: неназываемого еврейского Бога обозначают словом *а-Шем*.

В России говорят «Никто не забыт и ничто не забыто». В Израиле иначе: «У каждого человека есть имя». Это строка известной песни. Цитируя шире: «У каждого человека есть имя, которое ему дали Бог и родители». Так, наверно, только евреи умудрились сказать. «Не как у людей».

У них и смерть была не как у людей. У них, у тех шести миллионов.

По всем законам, и человеческим, и Божеским, умершему положена могила – место, где «мир праху его», куда приходят поклониться, вспомнить, сообщить мысленно и физически... Юдофобия, между прочим, начинается обычно с осквернения кладбищ, ударом по прошлому.

А у тех миллионов – кладбищ нет. «Мир праху»? Ни мира, ни даже праха. Они стали дымом, пеплом, травой, облаками, волосами в матрацах, золотом в чьих-то банках... Ими, их пеплом, засыпали болота; ими, мукóй из их костей, клеили короба; ими, золотом их зубов, оплачивали счета; мылом из их тел отстирывали исподнее; жиром их смазывались шестерёнки моторов – всё использовано рачительно, никаких остатков-останков, ни-че-го-шеньки... Шоа – всеожжение, всеуничтожение...

А дальше как? Освенцим или Майданек, которые сейчас памятники, – кто уверен в их сохранности спустя годы, спустя десятки лет? Что же до расстрельных прорв на бывших советских

пространствах, сколько сегодня ни стараться, сколько ни вздымать памятные камни – со временем места эти скорее всего затопчут, а то и заплуют. Или просто застроят: жизнь-то идёт, где нужен склад, где ферма, где стадион... Не до мёртвых...

Пишут в Яд ва-Шем о гетто в хуторе Забара Николаевской области (Украина): «Сейчас на могилах пасётся скот». Из Ковеля (Волынь, Польша) прислали фотографию сороковых, похоже, годов: место массового расстрела, человек двадцать плачущих родственников вокруг не могилы даже – еле горящего холмика, а наверху его череп; видимо, валялся рядом, чей – неизвестно...

Справка сельсовета (Украина, Хмельницкая область): «...вбивали жителів еврейської національності... Потім трупи... відвозили кудись... Ті жителі, що могли все це знати, повмирали...». Правду пишет «голова сільрады»: уходят люди и память никнет...

Дивно это всё предугадалось основателями Яд ва-Шем'а: не только мемориал погибшему народу, но и место каждому убитому отдельно. «У каждого есть имя». И решили собирать имена. На специальных Листах-свидетельских показаниях, *даф эд* на иврите. Сведенные воедино, они образуют кладбище, где – дай Бог! – навечно упокоятся тени всех замученных, расстрелянных, удушенных, испепелённых, в ничто обращённых...

В знаменательном месте, в Иерусалиме. Духовный центр, трём великим религиям корень, он особой благодатью обволакивает усыпальницу эту, величайшую в мире (евреям бы гордость, когда бы не горесть).

Всё, что есть в Яд ва-Шем'е: архивы, музеи, скульптуры, деревья памятные – всё можно повторить

в другом месте, в любой стране, которая захочет помянуть погибших (сегодня даже безеврейная Япония создаёт свой музей еврейской Катастрофы). Всё, кроме Зала Имён. Потому что имена должны приобщиться к своим, к евреям, а где место более еврейское, чем Иерусалим, Ерушалаим, Святой Город? И осенённый им Зал Имён тоже становится местом святым. Для потомков убитого народа, наверно, самым святым.

...Полдня просидел в Зале человек, заполнял Листы, выводил буквы, вздыхал, вспоминая... Сдавая два десятка Листов, сказал: «Я, знаете, живу в Вашингтоне, там у нас тоже музей, но я хотел своих занести именно сюда, в Иерусалим... Два года мечтал приехать – наконец, получилось». И слёзы на лице – крупно...

Тёмные стены, приглушенный свет, длинный ряд отсеков-ниш, где на полках одна к одной впритык стоят чёрные папки; белые наклейки на их корешках, как поминальные свечи.

Внутри папок – Листы с именами. Здесь собирают имена всех европейских и советских евреев, погибших и пропавших без вести во Вторую мировую войну – на оккупированных территориях, на фронтах и в эвакуации. Всех, кто исчез в результате гитлеровского геноцида с середины 1930-х годов и по 1945 год. Здесь не народ вообще, не абстракция и символ, нет: для каждого сегодняшнего живого еврея его, лично его родные, его мать и отец или брат и сестра, его деды и прадеды, а бывает, и дети (есть ещё люди, потерявшие детей в той чёрной круговерти) – нет среди нас почти ни одного, чью семью не изувечила бы война.

И здесь фронтовики, отдавшие за теперешних живых свой последний выдох. Здесь, наконец, по самому холодному, без эмоций, счёту те шесть

миллионов жизней, которыми оплачено создание Государства Израиль.

С какого бока ни взять, живые в долгу у этих теней. В долгу неоплатном... Ибо что можно для них сделать? Только Лист заполнить. Только придти в Зал Имён постоять, помолчать. И тогда шевельнут они неслышно душу, ожгут память видением, у кого зыбким, у кого до боли внятным – словно бы воспрянут ненадолго согласно начертанному над хранилищем Листов: «Вдохну в вас дыхание и оживёте». Те слова Бог велел библейскому пророку произнести над человеческими костями в пустыне («Кости сии – весь дом Израилев», – пояснил Бог) – «и вошёл в них дух – и они ожили и стали на ноги свои...» (**Иехезкель**, 37).

Если бы так... если бы... Пока – хоть именами прошелестеть...

Стоит ли? Еврей и сионист, патриот и солдат всех израильских войн живёт в двадцати минутах ходьбы от Яд ва-Шем'а и ни разу там не был. «Очень тяжело», – говорит.

Израильский литературовед в как бы интеллектуальном журнале сердится: «Сколько можно писать о Катастрофе? Неужели нет темы сегодня более важной?!».

«С такой памятью трудно жить. А молодым надо радоваться и делать жизнь», – это подпольщица той войны, участница смертельных игр с нацистами, профессиональный историк еврейских горестей и подвигов.

«Побереги сердце и своё, и чужое, – вторя ей, вразумляет сотрудника Зала Имён его давняя приятельница. – Может, я кошунствую, но мёртвым не поможешь, а живым – лучше бы не знать, лучше бы забыть...». Но брат её шлёт в Зал пачку Листов и

звонит вдогонку, волнуется: дошло ли? В компьютер внесли? Будут поминать?...

Посетитель Зала: «Я сдавал два года назад Лист на бабушку и не написал её девичью фамилию. Только сейчас узнал. Нельзя ли найти Лист и подправить?». У него не порядок на могилке – он переживает.

Даниил Розенталь, собирающий в Киеве Листы для Яд ва-Шем'а, пишет: «Считаю эту работу долгом еврея». И просит: «Напишите каждому: Ваш Лист нами получен. Это такое большое удовлетворение будет иметь для каждого, это будет... моментом великой истины и благодати, чувством исполненного ДОЛГА! ...главное, чтобы уверовать каждого, что отосланный Лист получен для вечного хранения и святой памяти».

Ещё из писем, сопровождающих Листы:

«Высылаем вам 9 заполненных бланков... В связи с тем, что у нас нет синагоги, мы просим Вас помянуть, помолица за всех наших родственников евреев погибших» (**Семья Ф.**, Владимир, Россия).

«Мне было пять лет, когда погиб мой отец, но я его очень хорошо помню и очень его любила. ...так горько, что нет могилы этого любимого человека. Я счастлива, что находясь в Иерусалиме, могу поставить ему такой памятник» (**Л. Д.**, москвичка).

Украина, Донецк: «Я узнала про Вас, про глубоко человеческую историческую миссию – увековечить всех несчастных безвинно погибших евреев в той ужасной войне». Следует подробный рассказ об отце: он отстрадал войну в эвакуации, надорвался на военном производстве, но умер в 1946 году, «не уложился» в сроки, отведенные жертвам геноцида (1945-й год, когда рухнул гитлеризм). Теперь 83-летней дочери слёзная забота: «Я прошу и молю во имя всего святого сделать такое исключение, увековечить в Яд ва-Шем

светлую и праведную жизнь, безвременно погибшего моего отца. ... Бог воздаст Вам за этот человеческий и благородный поступок.

Я прошу меня извинить за не совсем чёткий почерк, ведь я наполовину слепая и пальцы рук плохо держат ручку, но я стараюсь писать понятно. Никому бы не доверила писать такое письмо, даже родной дочери. ...только Вам, Высоким Судьям, могла его доверить. На Вас вся надежда. С глубоким уважением и благодарностью. **Лея Ч.**».

Из Калуги (Россия) – при четырёх Листах – страничка, внизу которой, возле подписи, фотография: милая блондинка, шляпка, свитер, на плечи платок накинута с точной небрежностью – всё было бы не более, чем приятно взгляду, но большие глаза бьют с портретика в упор и над ними во всю страницу выведено старательно и крупно: «Дорогие друзья! Бесконечно благодарна Вам за возможность отправить на Святую Землю имена трагически погибших моих родителей и братьев. Все эти годы моему сердцу не было покоя, что нет могилы, где могу склонить голову, зажечь свечу. Сегодня прощаюсь с ними, отправляя в последний путь.

На столе лежат четыре листа,
горят четыре свечи, а я прошу
Бога благословить Вас за Ваше
Святое дело.

Прошу, позвольте мне их сопровождать хотя бы таким способом.

С сердечной благодарностью **Мария Х.**».

Другой Лист – даже и не Лист, потому что в нём ни имени, ни фамилии, а написано на их месте: «Прошу вспомнить всех замученных немцами в Монастырище, всех, более 10 тысяч, детей кидали живыми, их никто

не вспомнит в родном городе... Просим вспомнить!!!» – криком кричит **Вера Д.** (Украина).

Криком же – рисунок: в Листах из Канады на большую семью, пропавшую в концлагере Берген-Бельзен, везде на месте фотографий истекает чёрными каплями слёз скорбный лик, свитый из ивритских букв слова *изкор* - «помни».

Люди стараются для тех, в небытии... Кто-то рисует, кто-то на Листе сбоку детской фотокарточки приписывает: «Посмотрите, какая красавица!», кто-то считает себя обязанным хоронить даже не родных своих, не друзей, а земляков или вовсе незнакомых, изничтоженные общины, и пишет, пишет, пишет десятки, а то и сотни Листов, как Даниил Розенталь из Киева, Зинаида Сандлер (Кирият Бялик, Израиль), Галина Могилевская (Гульчин, Украина), как Мирьям Сандал, приславшая 269 Листов из Чуднова (Украина), как Альберт Майзель (Минск, 414 Листов на евреев-белорусских партизан и подпольщиков) или Григорий Цингер (115 Листов на однокурсников по Военно-медицинской Академии в Ленинграде).

Ветеран войны Давид Златкин из Ашдода шлёт 378 Листов на убитых из его родного местечка Климовичи (Белоруссия) и просит ещё бланки: у него столько однополчан не погребено! Однорукий Михаил Макашовский, иерусалимец из белорусского городка Столовичи, в мае 1942 года сбежал из-под расстрела, а 228 евреев остались грудой трупов, и он теперь опять идёт с ними в смерть, опять окунается в ту тьму и выживает из неё имена, имена, имена...

У Софьи Комиссаровой в белорусском её захолустье (Гродненская область) Листов не было, так она погибших евреев своего Ивьевского района переписала в бухгалтерскую книгу. Аккуратнейше, двумя списками: слева по-белорусски, справа по-

русски, отдельно по каждому местечку, с указанием года рождения и размера семьи – больше 4000 фамилий.

...Приходят в один и тот же день в Яд ва-Шем два огромных списка погибших евреев. Первый от американского еврея, прежде ленинградца, он перед отъездом ходил по городским кладбищам и списывал с памятников еврейские фамилии, расспрашивал ковыляющих среди могил старух, сверяя даты, выпытывал имена родителей, профессии, подробности для ядвашемовских Листов. Другой список из украинского города: убитые еврей-фронтовики, со званиями, должностями, местами гибели – аккуратная машинописная выписка из тамошних архивов, куда оказался вхож автор списка, еврей с почетным Знаком «Ветеран труда»; заслуженный труженик требует за свою работу по увековечению 1000 долларов (повторяет прописью «тысяча»), можно отдать сыну, он здесь, в Израиле.

(Два списка – два еврея. Правда, американский уже, наверно, устроился, а на Украине за молоком очередь в шесть утра занимают...).

А в Зал Имен еженедельно с королевской обязательностью в один и тот же день, в один и тот же час по-стариковски неспешно, осторожно прошаркивает женщина, озаряет окружающих улыбкой и усаживается перебирать в папках Листы, перекладывать, наводить порядок – рутинная архивная работа. Она не в штате, не на зарплате. Пятьдесят лет назад в оккупированной Южной Франции она спасала еврейских детей, сегодня спасает имена ушедших.

И в Виннице Софья Сапожникова, ни корысти, ни славы не ища, составила списки сотен погибших с подробностями их жизни и смерти, с примечаниями, с

перечнем тех, кто помогал добывать сведения – не забудьте их, ради Бога!

С. Сапожниковой под 80 лет. На старости лет, «на заслуженном отдыхе» заняли себя пенсионеры: Михаил Хармац (Нетания, Израиль) прислал 1185 Листов, Моисей Грамм (Мариуполь, Украина) – больше 2200.

Борис Гидалевич своей рукой заполнил семь тысяч Листов, да выпустил «Книгу памяти» (6138 имён), да поставил, уговорив себе в подмогу украинцев-доброхотов, памятные знаки на 22 местах массовых казней евреев, включая Богдановку (Украина), сегодня (ему 90 лет) хлопочет о памятниках всем убитым.

Долг долбит души уцелевших евреев.

А чей долг гасит Дмитрий Афанасьевич Калибаба, учитель из города Мена Черниговской области? Он копал местный архив, выпрашивал подробности у десятков людей, привлёк друзей-евреев, родителей своих учеников – итогом стали 227 Листов Д. Калибабы на погибших менских евреев, да ещё около сотни Листов от его сотрудников. В ответ на просьбу написать о себе Д. Калибаба сообщил: украинец, пенсионер, участник Второй мировой... Старательно перечислил своих еврейских помощников: фамилия, имя-отчество. В конце письма о семье: «Жена русская, три дочери, пять внуков, правнучка. Мой покойный отец Афанасий дружил со многими евреями-земляками, немного разговаривал по-еврейски». Вот тебе и Украина с такой, кажется, рекордной юдофобией! «Учительница Нина Ароновна Бомштейн учила моих детей, а я детей их семьи», – пишет Д. Калибаба.

На удивление: он не одинок. Выискивают и сообщают имена уничтоженных евреев Александр Бордюков в Велиже Смоленской области (Россия),

капитан латвийской милиции, райвоенком г. Тульчина (Украина), ученики тамошней школы номер 2 и школы по соседству в селе Зелёное – они, неевреи, какой долг оплачивают?

Что за долг у брянского мальчугана, настолько ещё малого, что он вместо своей фамилии ставит неразборчивое «Д» с закорючкой – видно, совсем недавно изобрёл себе подпись и теперь рад выводить её «как большой». Листы у брянского Д. на бабушку, на дедушку и на «учителя моего дедушки». Он и дедушку-то с бабушкой не знал-не видал, учителя дедушки – тем более, а вот: похоронил, в самом Иерусалиме. Даст Бог, отложится это дело в пацане, отзовется... Как и в той девчоночке, что прислала Лист на прапрадедушку, «сапожника» из «Жанкое», который «был в гето. Выдали и расстреляли ф.» («Жанкое» – крымский город Джанкой, «ф» – очевидно, фашисты) – всё детски-неграмотно, недетски-серьёзно.

Пятнадцатилетняя жительница Герцлии **Сара Я.** пишет: «Мы были на экскурсии в Яд ва-Шем. Как еврейка, как коренная израильтянка, как внучка спасшихся в Катастрофе хочу сказать, что самое важное место здесь – Зал Имён». Толковый, значит, гид был у Сары Я.

Сотрудник Зала говорит: – В центре мира – Иерусалим. В центре Иерусалима – Яд ва-Шем. В центре Яд ва-Шем'а – Зал Имён.

Другой сотрудник добавляет: – А в центре Зала – твой стол.

Они, мои сослуживцы, вроде бы шутят. Хохотки Зала Имён.

...Приходит письмо из США: «Я послал вам 20 долларов и просил поискать мою семью у вас в

компьютере. Вы сообщаете, что у вас такие не значатся. Прошу вернуть 20 долларов».

...Диалог между сотрудником (С) и посетителем (П), взявшим бланки Листов для заполнения дома:

П. А конверт можно?

С. Можно. (Даёт конверт).

П. А марку?

С. Марку надо будет купить на почте и приклеить.

П (с укором). Вы нас вводите в дополнительный расход. (Уходит).

С (как говорится, в сторону). Такая еврейская пьеса.

...Конец дня. Зал закрыт. Рвётся опоздавший. **С:** – Вы хотите войти в Аушвиц? Завтра...

...Какой-то непонятливый заполнил Лист на самого себя, в строке **дата гибели** сообщил: «я ещё живой». Один сотрудник другому: – Напиши ему: «Я тоже».

Балагурство – защита от кошмаров. У Шекспира в «Гамлете» самые, помнится, шутники – могильщики.

А кроме шуток?

Софья С. принесла Листы на трёх мальчиков. Три Бориса, соседи-одногодки из дома 2 по Большому Головину переулку, Москва. Все трое погибли на войне. Одного, студента-медика в плену, обнаружив его еврейство, убили, прежде наиздевавшись.

– Я знаю всё, я видела фото, пионеры-следопыты нашли, – говорит Софья С.

Предлагаю ей: – Опишите. На отдельном листке. Останется навсегда.

Она садится к столу и пишет долго, трудно, подробно: «его подвешивали вниз головой, вынимали язык». Руки – ходуном, слёзы пятнают бумагу. Она сдаёт листочки и уходит, горько кривя мокрое лицо.

Спрашиваю сотрудника: – Наверно, я неправ? Жестокость: вот так заставлять вспоминать ужасы, и страдать, и плакать...

– А может быть, она избавилась? Всю жизнь носила в себе и – разрядилась наконец. И где? В Иерусалиме! Камень на сердце, годами давил и вот – упал, – говорит сотрудник. Он умудрён иудейством, потерей почти полсотни родственников и многолетним служением Залу.

Это к нему приходят люди, прилетают из-за чёрт-те-каких морей, просят: «Отыщите Лист на Эстерку, её убили в сорок втором в Треблинке» – и он прокручивает на мониторе микрофильм с кадрами Листов, а посетители вонзают взгляд в блеклое изображение, захлёбываются азартом горького поиска.

Холёная компания из американского благополучия: черноглазый молодящийся ковбой в полуобнимку с голубоволосой женой, их двадцатилетние сын и дочь, длинноногие и крепкозубые, вальжная бабушка... И все глаза – в экран, в зелёную его тоску, где мелькают гонимые машиной Листы, Листы, Листы, яркие, бледные, выцветшие чуть не добела, и чёткие с врубленными, как навечно, буквами – несётся потоком лента, цепенеют на ней красивые заморские глаза и ждут, ждут дослепу, не вынырнет ли оттуда тот самый, о ком до сих пор пишет бабушка: «племянничка мой». Пятьдесят лет минуло, а племянничка – всё то же славное пухленькое дитя и всё он падает в яму, падает... Время застыло.

Бежит лента на экране, бесконечная лента Мёбиуса – она летит из жизни в смерть и обратно, мы все на ней и не понять, на здешней ли, на той ли стороне. Мчится лента –

– время сто́ит. Бухарский еврей по-восточному вяло шевелит губы: – Нельзя ли узнать про отца? Он на фронте без вести пропал...

– Нет, здесь только те сведения, которые **вы** нам пишете.

– Я для бабушки, Она говорит: «Он живой. Я с ним каждую ночь говорю во сне».

Бабушке, выясняется, 94 года. Полвека она разговаривает с мёртвым сыном...

Сотрудник: – Здесь не кладбище. Я не умею назвать, что́ здесь. Я когда новый Лист вношу сюда – я человека как будто оживляю. Теперь вот компьютеры завели, вносят туда имена и на Листе пишут компьютерный номер – я это терпеть не могу: мы, значит, их опять в концлагерь... У человека – имя, у заключённого – номер...

Верно. Вижу: старик из Бельгии сдаёт Листы дрожащей рукой и как бы нехотя: отдаёт и тянет обратно, словно трудно расстаться, словно живые они, тёплые... «И вдохну в вас дыхание, и оживёте».

Но прав и другой сотрудник: – Для кого-то Зал – политика, для кого-то статистика, для третьего – памятник, для четвёртого архив. А мне – только кладбище. Место вечного покоя тех, кого распылили, разбросали по лесам, по ямам...

Стоит перед этим сотрудником приезжий из Донбасса. Мужик справный, спортивно подтянутый: лет за шестьдесят, но джинсовый костюм на месте. Голова римлянина: рубленое лицо, седая каска коротких волос. Говорит сперва уверенно, напористо, но вдруг затрясся в руке листок со столбцом фамилий: – Они все живьём брошены в шурф. Шахта четыре четыре бис... Понимаете? Живые в шахту. Все...

Сотрудник переводит разговор: Листы надо заполнять отдельно на каждого, вот здесь адрес,

разборчиво и так далее. Человек стихает, уже почти спокойно чеканит: – Есть ещё два брата, на фронте убиты. На них тоже писать?

– Конечно, пишите.

Опять вздрагивает лицо: – А... Разве им это поможет?

И сотрудник говорит тихо: – Поможет нам. А может быть и им – кто знает?

Все правы. Трепетная аура Зала Имён – невыразима, неопределима.

Посетитель (лет пятидесяти, седой, спокойный): – Вы не можете найти Лист на Еву М.? Ей было девятнадцать, умерла в Аушвице в сорок четвёртом...

Поискали – нет Листа на Еву М. Посетитель огорчился: – Должен быть Лист, непременно. Ведь это я сам – Ева, то моя предыдущая инкарнация, а теперешний я родился в 1945 году.

Похоже, клинический случай. Для психиатра. Или для философа: непрерывность времени и еврейской истории.

Другой посетитель (писатель): – Народ, сохраняющий имена, бессмертен.

Третий (актёр): – Вы здесь на службе у вечности.

Четвёртый (просто посетитель): – Между мной и Богом только Зал Имён.

Пятый подходит к одной из светящихся в середине Зала стоек с образцами Листов, кладёт на неё копию Листа, полученную здесь, и читает *кадиш*... Гортанный рокот иврита, мерное качание тела – иудейская молитва, неизбывная боль...

...боль молитвы христианской. Склонённая голова с тонзурой, белый шнур на чёрной рясе, серебристый отсвет креста на груди – эффектно гляделась фигура священника на коленях перед нишами хранилища Листов. Толклись туристы поодаль, а вокруг

молящегося было пусто и тихо – здесь сосредотачивались скорбь и, хотелось бы надеяться, раскаяние. Оно, может быть, даже важнее еврейского поклона мёртвым: евреям-то недолго между собой согласиться, что их не надо убивать, а как убедить в этом христиан? Или мусульман?... Господи, вразуми!..

Посетитель: – Стена плача – она здесь, в Зале Имён.

Что́ тогда Листы? Записки в Стене, послания к Всевышнему?

Что́ такое они, белые бланки с графами и строчками, спускающимися от заголовочной надписи «Яд ва-Шем» к чёрной полосе внизу – траурной ленте, на которой строгие квадраты букв застыли обещанием пророка сохранить память и имя погибших?

Посредине страницы – место для фотографии. Чаще всего оно пусто, но иногда оттуда пронзительно ворожат глаза, или детская улыбка, или старческие морщины – ушедшая жизнь проклёвывается, тревожит воображение...

Что́ же это – **Лист свидетельских показаний**? Душа мёртвого? Памятник ему? Надгробие? Венок? Анкета?.. Каждому видится своё сообразно его разумению, и всё верно: Лист – и душа, и памятник, и символ, и документ.

Торопливый пожиратель туристских впечатлений, влекомый к тому же душевноглухим, а чаще невежественным экскурсоводом, говорит о Зале Имён: «Картотека» (случается, с небрежной отмашкой), но и он, если оставить отмашку на его совести, – тоже прав. Зал – ещё и картотека. Более того, архив, собрание бесценных сведений о том, что произошло с евреями, с людьми вообще, с миром.

Лист – простейшая анкета. **Фамилия и имя погибшего, имена его родителей и супруга, даты и места рождения и смерти, профессия, обстоятельства гибели.** Больше ничего. И часто не все графы заполнены, спустя полстолетия многое не помнится. Но и неполные, собравшись в миллионы, Листы работают. Подскажут, например, сколько убито евреев по полу и возрасту или профессиям в крохотном бессарабском городке Единцы – и нарисуеться исчезнувшая еврейская община в подробностях вплоть до сообщения, что специальность старой Баси была «повар на свадьбе», а Шимона - «примусник».

Или: каков был размер прежней еврейской семьи? 5, 10, 15 человек? Анна Б. из Мигдаль а-Эмек (Израиль) прислала Листы на расстрелянную родню: 24 человека. Читатель не успеет ахнуть-охнуть, как узнаёт о Листах Розы Г. (Пенза, Россия) на 48 её родственников. Куда уж больше?! Но пришла из США бандероль: Мара Вехнис шлёт Листы и известие о семье в 84 человека из Латвии. Из них 81 погиб, трое выжили. Живут: один в Риге, один в Израиле, один в Америке. (Когда это рассказываешь туристским группам, то цифре 81 откликается горестное «Ах!», цифре 3 – облегчительный выдох; говорю: «Опять расплылись, всё по-еврейски», и посетители веселятся, особенно русские евреи из США, ещё пуще – из Германии; добавляю: «Прошлое ничему не учит», – а этого уже не слышат. Или не хотят слышать).

Кто-то хочет узнать, что значит «поголовное истребление»? Приглядитесь к Листам: здесь профессии от раввина и банкира до грузчика и домохозяйки; здесь Нирл-Михл Азерников 106 лет из русского Невеля, Хана-Малка Вайншток (Венгрия),

убитая газом в Аушвице в возрасте 122 года (не описка: **сто двадцать два**), и Лерман из Ушачей (Белоруссия), о котором сказано «не успел мальчик получить имя, замёрз в гетто через 2 часа после рождения»; здесь и полукровки, и выкресты, и те, кто перекроил себя из Срулей в Олеги, из Абрамовичей в Аркадьевичи, из Хайкиных в Трубецкие, чтобы уже Олегами Трубецкими прошагать в свой Бабий Яр – вернуться в еврейство.

Кто мог, бежал тогда от немцев. Пешком ли, на лошадях, автомашиной – кому как выпало, лишь бы подальше от смерти. Самые везучие оказывались в поездах. Для интересующихся подробностями эвакуации – сообщение **Герша Ф.** на изнанке присланного им Листа: «При эвакуации в Среднюю Азию в пути следования дедушка заболел (подозрение на дизентерию), поэтому его поместили в изолятор (товарный вагон-теплушка). Погрузили нас ночью (мы оказались в первом вагоне). Поезд шёл с очень короткими остановками. Поэтому утром мы смогли добраться до вагона-изолятора несколькими перебежками на остановках. Когда мы добежали, наконец, до вагона-изолятора, то дедушки там не оказалось. По утверждениям не то фельдшера, не то санитаря, его высадили мёртвым на станции Кизил Арват. Хотя больные, в том числе дочь моего дедушки Щупак Анна, которая тоже была в тяжёлом состоянии в этом же вагоне, утверждали, что когда его высаживали, он стонал. Высадили его (вернее, выбросили) возле водокачки, просто положили туда... Через несколько дней... поехал человек в Кизил Арват, но никаких следов дедушки ни среди живых, ни мёртвых найти не удалось».

Другая частность: в графе **обстоятельства гибели** на Листах советских евреев-мужчин призывного возраста почти сплошь: «фронт», «фронт», «фронт». А **непризывной** возраст? Не в армии, так в ополчении, пушечным мясом – но воевать! «Убит в ополчении» написано в Листах 73-летнего Иосифа Тува (Очаков, Украина) и 15-летнего Додика Белинского (Одесса).

Тут и ответ на другой вопрос, томящий многих израильтян: как умирали те, кто остался без этих боеспособных евреев? Твердят: «как овцы на бойне», «позорно» – живым судить мёртвых несложно. Миллионы молодых солдат в немецком плену умирали без бунта почти до самого конца войны – их не винят: и верно, какой спрос с изнурённого доходяги? А безоружным еврейским дедушкам и мамам – предьявляется счёт. Евреям всякое лыко в строку. Кто смеет сейчас, из безмятежной дали, пивко или кофе в тени попивая, соразмерить уход из гетто в лес драться и, может быть, выжить – с подвигом того, кто без всякой надежды оставался облегчить умирание своим старикам и детям?..

Известно: искать справедливость – дело неверное. Да и враньё это: «еврейская покорность». Из Листов (в кавычках отрывки записей):

Арнольд Маргулес, инженер-железнодорожник, расстрелян гестапо города Тернополя за отказ служить оккупантам;

кировоградский аптекарь Эммануил Аннопольский «до самого прихода фашистов обеспечивал госпиталя лекарствами, а затем поджёг склад медикаментов. Расстрелян полицаем»;

Ицю Бенкера в Рыбнице, Молдавия, «убили топором, когда отказался перекреститься»;

Ида Кантолинская, 45 лет, врач-педиатр из Харькова, работала уборщицей в немецком

учреждении, за содействие арестованным «повешена немцами на балконе с табличкой «Партизан»»;

Яков ПрошOVER (на фотографии лысый круглолицый, смех во весь рот, глаза горят) в варшавском гетто многократно спасал чужие жизни, в том числе семью автора Листа **Р.В.** из Швейцарии;

Абрам Копин, 67 лет, Минск, во время погрома «отказался садиться в машину и был расстрелян на пороге своего дома».

Вера (Двейра) Косман (Татарск Смоленской области) на фотографии моложе себя убитой. Здесь она девушка лет двадцати, с пышными волосами, в которых нежно круглится доброе лицо с ямочками на щёках, с аккуратным носиком, с полными и чуткими губами, сложенными в улыбку Джоконды, только ещё сдержаннее... А убили её в 28 лет, уже мамой, и вот как это описано её братом на обороте Листа:

«Сестра работала почтовым работником (телефон, телеграф) и по долгу службы не могла оставить работу и бежать вместе с родителями и односельчанами, которые её усиленно звали на подводу.

Спohватилась когда кругом были немцы и бежать было некуда.

Она осталась с 3-летним мальчиком и попросила русскую семью взять его к себе (мальчик беленький и ничем не выдавал национальность). Мальчика взяли, но через 2 месяца вернули и от дальнейшей помощи отказались. Вместе с мальчиком блуждала по лесу, а на улице холодная осень и вернулась к себе в дом. Полицай, русский, её поймал и вместе с мальчиком расстрелял.

Отец мужа был сельский кузнец, по воскресеньям полный дом крестьян, а в тяжёлую годину отвергли все».

Вера (Двейра) Косман, она тоже жалкая овца под ножом? Ау, героические обличители мёртвых! (Безответных мёртвых – безответственные судьи).

Кто и с каких пор счёл склонённую голову еврейской национальной позой?

Мендель Казачков, пенсионер 73 лет в Невеле (Псковская область) «оборонялся от фашистов с топором в руке, сожжён живьём».

О Грише Каплане в Листе: «Пионер подпольщик. Схвачен гитлеровцами и замучен в Минской тюрьме». Грише было 12 лет.

Эле-Хаим Либенштейн, 72-летний извозчик из Витебска «убит офицером СС в гетто при отказе плясать босиком на снегу и за то, что плюнул в лицо офицеру». А внук его Иосиф, 21 года, воевал и убит в бою под Кельцами, Польша, в 1944 году.

Тут поворот к евреям-солдатам. До сих пор не исчислено, сколько их, о ком можно сказать песенным слогом **М.К.** из Нахарии: «погиб на фронте немцами убитый» или в графе **место жительства** написать «война» или в графе **профессия** «участник Великой Отечественной войны», а то и «бухгалтер- солдат».

В 1941 г. в Монастырище Винницкой области немцы расстреляли стариков Шапиро, Маню и Дувида. Пятерым их сыновьям не защитит было маму с папой – они в те дни умирали на фронте, один за другим: Аврум, Мойша, Зузя, Меер, Зейлик...

Как выражались остряки, «аналогичный случай был в Одессе»: семидесятилетние Тумер и Янкель Воловеры пошли в гетто с дочерью и внучкой, перед тем проводив на фронт четырёх сыновей.

Примеров подобных – пруд пруди. Сильные гибнут в бою, слабые на бойне... Но поголовное истребление – «окончательное решение еврейского вопроса» –

глобальным замахом своим не позволяло пускать дело на самотёк. И нацисты расстарались: наладили механику массовых казней, организовались технически, обеспечились поддержкой местных активистов. Добрые соседи евреев, товарищи по службе, по учёбе, закадычные приятели – такие свои...

Бессарабия, село Цамбала, мельник Эрлихман Мойше-Вейвл – «его предал и расстрелял лучший друг, начальник полиции, летом 1941 года».

Фельдшер Гудя (Ида) Торпусман (Житомирщина, Украина) пошла на фронт, попала в окружение, выбралась, «пробралась к себе домой в надежде спрятаться... Захватившие её дом люди выдали её украинским полицаям. Полицаи водили её по улицам города Коростеня и пилили её на части... Особенно отличался бывший дворник Народа».

Рива Штейнгарт в Хмельнике (Украина) пряталась до февраля 1944 года. Перед самым освобождением её «расстреляли, потому что выдал немцам соученик». Может быть, девятнадцатилетняя Рива не ответила на нежные чувства соученика? Или другие какие счёты?

Минская область Белоруссии, деревня Драчково, 17-летний партизан Иосиф Аbruкин «погиб при выполнении боевого задания. Предан и опознан своим учителем школы».

В Ананьеве Одесской области (Украина) истреблены 2000 евреев. **Яков Г.**, родственник погибших 13-летнего Нюси и 4-летнего Бори Посицельских пишет: «Расстреливали их в овраге... Особой лютойостью отличался некий Тарасевич, который до войны работал директором ананьевского детского дома».

Чтобы не потерять начисто веру в человечество, можно утешиться воспоминанием о другом директоре

другого детского дома – Януше Корчаке. А можно здесь же, не выходя из Зала Имён, узнать о Лазаре Маршеве, 1928 года рождения, которого всю войну прятал украинский полицай в Сумской области. И на той же Украине, в Джурине (Винницкая область) все оккупационные годы проработал в колхозе не выданный никем из односельчан Шимон Вайнрух – судьбе пришлось дожидаться освобождения Джурина, призвать Шимона в Советскую Армию и уже на фронте убить его в 1944 году.

Листы подсказывают: в Клинцах Брянской области Мария Стародубцева с мужем спасли трёхлетнюю Дину К. (она сама сейчас свидетельствует из русской Твери) и не выдали её даже под пытками в гестапо; на станции Чертково Ростовской области врач немец Юзефе «в своей больнице спас много военнопленных, в том числе несколько евреев-красноармейцев».

«Литвяк Анна, русская женщина, она работала домработницей в доме Литвяка Абрама. Его жена умерла после 2 родов, а Анна стала им матерью и он женился на ней до войны. Во время войны, живя в оккупированном немцами Майкопе, она рисковала жизнью, пряча двух еврейских детей. Потом кто-то донёс немцам, и её обязали сдать их в гетто. Она пошла в гетто вместе с детьми, вся её русская родня стояла у входа в гетто: «Аня, Аня, не ходи, что ты делаешь?» и умоляли её не идти в гетто на смерть. Она же сказала им что это её дети, она их вырастила и считает своими и если нужно умрёт с ними». Анну Литвяк расстреляли вместе с детьми.

Украинская семья Потапчук (Ровенская область) спасала на оккупированной Волыни евреев, прятала их, кормила, подлечивала – не уберегла, однако, от убийц. Сегодня Анна Потапчук (теперь **Анна Боровец**) пытается спасти хоть память о погибших.

Фамилий она не помнит, шлёт в Яд ва-Шем Листы без фамилий, а то и без имени, но с удивительными записями, вроде: **отношение к погибшему** – «носила хлеб и перевязочный материал». Это – Лист на восьмилетнего мальчика, который «сбежал с места расстрела. Около недели лежал с простреленной ногой под кошной сена в с. Мощоны... Дети Потапчуков носили ему еду, перевязывали рану, перепрягивали в сене. ...его обнаружили немцы и застрелили».

В Листе на Дуню (тоже без фамилии, возраст 25-30 лет) А. Боровец указывает **место жительства** убитой – «дом Потапчуков в подвале», и **обстоятельства гибели**: «Перед обыском [видимо, узнав о нём заранее] евреев вывезли в лес. Когда погибшая возвращалась из леса, её встретил поляк-лесник, заставил раздеть платок, жакет, ботинки и заколол Дуню вилами. Тело похоронили дядько Михаль и сосед. Поляк отдал одежду своей жене. ...говорили, что он убил много евреев. Бандеровцы уничтожили и его, и его семью».

У украинских бандеровцев с поляками свои счёты. Из той же самой бухгалтерии ненависти.

И тьма в Листах и свет, но правда в том, что спасено евреев единицы-сотни-тысячи, а убито – миллионы.

Да как убито! Немцы, хоть и хватало у них изуверства, чаще всё-таки аккуратно исполняли предписанную обязанность: стреляли, вешали, пытали – как правило, по приказу, без личной инициативы. А «свои», местные – вот у них-то, с алкоголем в голове, с винтовкой в руках – о, как разыгрывалась народная смекалка! Тут грешно сказать «зверство» – человек куда жутче... **Обстоятельства гибели** от рук соотечественников, записанные в Листах, не для нормальных человеческих нервов, не для публикации,

но мёртвые требуют хоть чуть-чуть, хоть долей малой показать их муку, а ты, чувствительный читатель, пропусти следующие примеры молодецких забав:

«возили в телеги голую полную старуху глумились. Растреляна во рву» (Украина);

«Её длинные волосы привязали к оглоблям бочки с водой вместо лошади, били и убили» (Белоруссия);

«убит об пол полицаем на глазах родителей» (ребёнок двух месяцев, Украина);

«сожжена в стогу вместе с дочерью беременной и зятем» (Румыния);

«после расстрела его детей, парализованный, был выброшен соседями из дома и умер с голода» (Борис Ш., 76 лет, Украина);

«замурован живым в стену» (Эстония);

«проткнули вилами и бросили в машину-душегубку» (Аврам П., 71 год, Украина);

«вывезены на лодке в море и там подожены» (Крым, муж и жена, обоим по 64 года);

«убит электрическим током» (Украина);

«сняли кожу с ягодиц, затем расстреляли» (Белоруссия, Минская область, деревня **Хорошее**);

«замучен паром в бане» (Украина);

«брошены в известковую печь» (муж, жена и четверо детей, Молдавия);

«семью из 5 человек в мороз раздели до гола, привязали к столбу залили водой и сделали ледяные столбы» (Украина);

«сварили в котле конфетной фабрики, где Соломон работал мастером» (Украина);

«забита в ящик с братом Шурой и брошены в реку Орлик» (дети 8 и 4 лет, Россия);

«по дороге на расстрел рожала и сосед-полицай толкал и говорил, что место найдётся тебе и ребёнку» (Украина).

В Лепеле (Белоруссия) шестидесятипятилетнюю Эсфирь Немцову с дочерью Софой и двумя внуками 9 и 12 лет «приводили ко рву, стреляли над головами, отпускали домой». Три дня. («Бог троицу любит». Уж смеха было!..). На четвёртый день расстреляли.

...Оказывается, ухнуть в расстрельную яму или изойти дымом в концлагерное небо – ещё не самое страшное.

Зал Имён, «Летучим голландцем» сквозь время плывущий, в чёрном трюме его, в отсеках-нишах с Листами – неподъёмный груз ужаса, иногда многостраничного, иногда уложенного в короткую фразу «три дня дышала земля» или даже в одно только слово «живозакопанная» (Украина). И всё ясно, и ограничиться бы этим, чего душу травить подробностями, в конце концов задача Зала – сбор Имён, остальное – только приложение, пояснение, попутное...

Но женщина подписывает Лист: «Я, **Броня Куниченко**, стоявшая на расстреле с матерью, отцом, сестрой и двумя своими мальчиками-сыновьями». И нельзя не попросить Броню Куниченко: – Напишите, что было. Как и кто убивал, как и кто спасал...

Не одну Броню просит Зал Имён. Он взывает ко всем, пережившим войну:

«Вы в долгу перед мёртвыми, вы в грехе перед юными... Молодые мало что знают о Катастрофе, «Ленивы и нелюбопытны»? Не только. В сорок четвертом-сорок пятом годах, воротясь из эвакуаций и с фронтов на свои родины, изуродованные оккупацией, с выкорчеванными

семьями – у каждого 50-60-90 процентов родни исчезло! – вы яростно визнавали подробности, вы погоревали, какое-то время поговорили и – замолчали. На пятьдесят лет. Жизнь тормозила, скорбь мешала... Многим и советская власть помогала молчать: «лагерь» и «гетто» были слова неприличные, «еврей» – почти нецензурное.

Пришла пора, старики. Расскажите, что знаете, расскажите детям и внукам, чтобы они, сегодня глухие, а завтра созрев, чтобы они, и дети их и правнуки спустя годы могли узнать, как погибали те, кто дал им жизнь...

Не думайте, что за вас расскажут другие, что «и так всё известно». Да, известно, что в Румбуле расстреливали, но каждого поволокли на то побоище отдельно, каждого убивали по-своему. Поэтому не ограничивайтесь строкой, отведенной в Листе под «обстоятельства», напишите отдельно и приложите к Листу. Не откладывайте. Через десять-пятнадцать лет и просить будет некого».

(С Броней Куниченко что вышло? Договорились о магнитофонной записи воспоминаний, назначили встречу, а она возьми да и умри...).

Люди пишут. И передают свои записки в Зал. На вечное хранение.

В Зале не требуются документы, здесь не отдел кадров, не инспекция и не сыск, здесь и фотография на Листе не обязательна, а прилагается только по воле автора Листа. Но что бы в Зал ни прислали – всё сохраняется.

Шлют документы – и подлинники, и копии – шлют драгоценные бумаги, опасаясь их потери в передрыгах быта, в небрежении или суете: наградные листы, похоронки, аттестат зрелости, письма с фронта – бесконвертные «треугольнички», сложенные из

тетрадных листов, и записки на клочках бумаги... Пробитые пулями фотографии из нагрудного кармана, в пятнах крови... Однажды прибыла медаль «За оборону Сталинграда», в другой раз – пакетик, в нём земля с места массовой казни. Всё уходит в музей Яд ва-Шем'а, копии бумаг хранятся вместе с Листами; собрался архив – тысячи, сотни тысяч сюжетов, судеб. Необозримая мозаика застывших слёз.

«Жил Александр Герцович, еврейский музыкант»...

Жил Аврум-Мойше К. в городке Коростень (Житомирская область, Украина). «Профессия, – пишет его брат, – музыкант, шапошник». Шил шапки, жил с шапок и поигрывал на скрипочке. «Скончался в бою с фашистами от полученного тяжёлого ранения 25 октября 1943 года под Ленинградом», – сообщает сухо и строго брат. Авруму-Мойше было 49 лет.

Брат его Ихескель в Киеве слесарил и тоже музицировал («слесарь, музыкант» – перечислено в Листе). Тридцати одного года погиб при обороне Киева.

Жил ещё в Ровно брат Ицхак-Лейб. И тоже на скрипке... Ему в 1941-м было 59 лет – возраст непризывной, вот и не убит в бою. «6 ноября 1941 года фашисты и полицаи приказали лечь на землю и зверски прикладами забили насмерть». В тот же канун праздника Октябрьской Революции расстреляли и жену Ицхака-Лейба Рахель. И она музыкант.

Одарённые эти евреи родом из местечка Ушомер Житомирской области. Там у них был ещё дядя Борух. На фото он в чёрной кипе, длиннобородый, глаза озорные... Веселоглазый Борух никуда из Ушомер не уезжал, в октябре 1941 года его, 72-летнего, немцы здесь же и расстреляли...

Очень музыкальная семья. Пишущий Листы киевский брат **Михаил К.** – он, интересно, тоже музыкант? Или не выносит звука скрипки?..

Нинель Б. из Беэр-Шевы шлёт Листы. Тётка Нинели Соня Ялгут (Глусск, Белоруссия), о ней: «При обнаружении партизанского отряда, где находилась семья, немцы убили 4 её детей, она потеряла рассудок.., её расстреляли».

В той же пачке Листов дед Рувим Левин (Старые Дороги, Белоруссия): «сожжён заживо вместе с женой, детьми и внуками в собственном доме». Следуют Листы на 11 сожжённых. Были ещё дети у Рувима: Хана – «расстреляна на городской площади Слуцка как партизанка»; Стыся – «заколота в постели». Разнообразно погибала семья Нинели Б. Скоротался вечерок, когда заполняла она Листы чётким почерком, твёрдой рукой – привыкла, видно, жить с этими смертными подробностями.

А в Донецке **Этя Г.** свои Листы писала коряво, неграмотно, с сантиментами не по делу («немцы издевались как хотели вывезли по сей день не знаю где покоятся его косточки») – это мешает при чтении, пока последний Лист не грохнет по сердцу записью о Геннадии Г., сброшенном в шахту: «грудной младенец» и сверху добавлено резким росчерком перьевой ручки: «мой». А внизу Листа, подтверждая и добивая, подписано: «мама». Как выжили Вы, мама, и как живёте эти полвека?..

Дети – всем болям боль.

Лист на Яшу Д. четырёх лет, эвакуация: «Яшенька в поезде просил пить. Мама его сошла взять воды а когда

пришла ребёнок бил себя кулачками по головке от страху что мамы нет и он скончался».

Бедный Яшенька, война требует в четыре годика много больше понимать. Ленинградцу Вове Иванову было тоже четыре. Его русский папа погиб на фронте, а он с еврейкой-мамой Раисой Михайловной оказались в 1942 году в Каунасе (Литва).

Галина Г., торопясь не отстать от своей туристской группы, сунула мне записки:

...Раю расстреляли с Вовочкой в 9 форте... Когда повели на расстрел, Вовочка очень боялся смерти, плакал и кричал немцам «Я усский! Я усский!»... Он «р» не выговаривал.

К Листу на восьмилетнего **Бориса Зусмановского** (Симферополь, Крым) приложена его собственноручная записка, страница из тетрадки, свёрнутая пополам, на ней печатными буквами адрес: «Комунибудь из близких», а внутри: «Тётя Вера, дядя Петя, Иночка, тётя Роза и Юрик в Ленинабаде. Дядя Абраша в Соликамске. Ланя в Армавире. Тётя Сара у Фани в Пятигорске. Арон за Полярным кругом. Дядя Ума и Воля в Крыму (где незнаем). Я, тётя Аня, Роза, мама, папа, дедушка, бабушка, тётя Вера Рыжевская, дядя Грыша Рыжевский все вместе.

...После захода немцев начались объявления насчет нас. 12/ХП-41 г. нас взяли и незнаем куда отправят, Велели взять еды на восемь дней и две пары белья. Досвиданья.

Целую. Борис Зусмановский.

Оставляю это у тёти Доры. Если вы будете здесь и должны будете уехать оставьте што-нибудь о себе у тёти Доры».

Видится: кутерьма сборов, взрослые мечутся, а мальчик, приткнувшись где-то у края стола, лихорадочно, рукой спешащей пытается (ему поручено!) сплести паутинную связь хоть с кем-нибудь из близких. Он не знает, Боря, что он уже в театре, что еда и бельё – игровые фокусы, потому что их в то же 12 декабря расстреляют на 9 километре Феодосийского шоссе и тётю Дору убьют; только русские соседи уберегут эту записку...

...Шура Тимашпольский родился у сорокапятилетнего папы и сорокадвухлетней мамы – поздний ребёнок, подарок судьбы. Любимого сына родители снарядили в большую жизнь, отправили из невидного своего Кривого Рога учиться к дяде, в славный город Днепропетровск (всё – Украина). Шура окончил семилетку 14 июня 1941 года, в аттестате почти сплошь «отлично». 22 июня война. Шура по инерции ещё поступил в техникум, зачислен 6 августа (все документы и Листы от сестры его Любови Тимашпольской). И поехал он к родителям, но уже не столько с этой радостью, сколько с новой целью: помогать парализованному отцу спускаться в убежище при бомбёжках, они донимали криворожцев, фронт близился. Шура не знал (советская власть не спешила сообщать огорчительное), что в Кривом Роге уже немцы, уже не бомбы страшны, а казни. Мама спрятала Шуру у русских соседей. Как-то мальчик пришёл проведать родителей. Отец был один, на попечении соседки, она его подкармливала (потом немцы запретили – отец умер голодной смертью). Маму угнали на сборный пункт. Шура пошёл туда же искать маму. На том его пятнадцатилетняя биография кончилась.

...Маргарита (Рита) Г., 1929 года рождения, Минск, «подвергалась расстрелам 3 раза. Два раза удавалось ей

упасть с трупами, но в 3 раз её застрелил полицай во дворе дома, где она жила до войны».

Юлия Ш. (Израиль; о двоюродных 12-летнем брате и пятилетней сестре в оккупированном Сталино, Украина):

Марик привёл Светочку к соседке и попросил её спрятать (у неё были голубые глаза и светлые волосы), а соседка позвала полицая и сказала, чтобы забрали «жидовских» детей, их забрали и бросили в шахту со всеми евреями.

...Иосифу Соболеву (Ромны, Украина) весной 1942 года было девять лет. «Играл на улице с собакой. Фашист пристрелил собаку. Мальчик крикнул: – Что вы делаете? Тот пристрелил и его».

...Володе Б. стукнул годик, когда они с мамой вырвались из Белостока, добежали до Курска – уже почти спаслись, а тут бомбёжка и ребёнок погиб. Папу Володи Леона Б. тем временем убил фронт. На маму Листа нет – возможно, осталась жива. Несчастливая мама Дина Б...

Но где мера горя? Бог, Он ведь всемогущ. И Он посылает Лист на Ривочку Х. (Не стану просить у мягкосердечного читателя прощения за этот абзац, просто предлагаю и его пропустить или считать клеветой на человека). Итак, Ривочка Х., 16 лет, школьница. Деревня Чеповичи Житомирской области, Украина. Девочку многократно насиловали на глазах матери, которую заставляли отливать дочку водой. Что матери оставалось, кроме как сойти с ума? И уже в счастье безумия быть расстрелянной вместе с измороженной дочерью.

Мама Ривы одна ли в том мраке? Здесь безумие повальное. Жертвы, палачи, цивилизация, культура,

ад, Бог, солнце – всё всмятку, враздрызг, в тартарары...

Зал – чёрная дыра во времени и пространстве. И высверками оттуда – словно звёзды искрят угасшие – ключья судеб, имена, даты, кровь, бред, чеповичский кошмар Ривочки Х...

Перевести бы нам, читатель, дыхание, очнуться бы... Вынырнуть из тьмы Зала наружу, под звенящую голубизну неба, в сияние полдня, к разноплеменным туристам на выходе из музея Яд ва-Шем и наблюдать на их лицах растерянность, оторопь, отчаяние, скорбь, злость... Толстая негритянка роняет «*Террибль!*» («ужас»). Но мы отвлечёмся от её дрожащих губ, мы подивимся колыханию безмерных африканских форм в белом великолепии одежд – и Бог даст, разрядится натруженная душа наша. Тем более, что рядом утешительный гомон несмышлёных детей, а неподалёку, совсем уводя от темы, целуются влюблённые подростки, и нет им дела до Катастрофы, и что это: безмозглость или торжествующая жизнь? – так и остаётся вопросом.

Зато Зал – бесспорен.

И зал гнёт своё, и подбрасывает идиллическую такую картинку: на странице из тетради в клеточку рисована детской рукой пышноволосяя девчушка в платьице с весёлыми рукавчиками-«фонариками», при ней воздушный шарик, рядом цветы, дерево, дом в два окна, а над крышей объяснено: «Школа», и тут же текст по-французски: «Мой Жак, я получила книги... Я много думаю о тебе... Я с тобой всем сердцем... Клод». Кто Жак? Что за словами записки? Уже не узнать. Но приложен рисунок к Листу на Клод М. из Ниццы, и было ей, оказывается, 6 лет, когда её 5 июня

1944 года отправили в Аушвиц. И улыбается нам с фотографии на Листе та самая пышноволосая девчушка с теми же «фонариками».

Фотографии, фотографии...

Борис К. из Гомеля имел освобождение от призыва (*бронь*), отпросился, однако, воевать и погиб двадцатилетним при форсировании Днепра возле Киева, успев закончить артиллерийское училище и за какой-нибудь год на фронте дослужиться до старшего лейтенанта, получить ордена Красной Звезды и Отечественной войны первой степени, медаль «За отвагу». А на фото, подмалёванном ядовитыми колерами, мальчишечка яснолицый, большеухий, с пухлыми губками, волосы аккуратной волной, глаза умненькие, подбородок нежный, никакой не волевой...

Мощный лоб, жёсткость носа и губ, причёска «на пробор», чёрные узкие глаза, мрачно быющие, – лик обречённости, лик войны... Так выглядит на фотографии человек лет 30-35, но в Листе его значится год рождения 1926, а к Листу подколота записка **Фаины Л.** (Кентвуд, США): «Мой двоюродный брат Феликс Астановицкий во время блокады Ленинграда закончил лётное училище и будучи несовершеннолетним мальчиком пошёл добровольно на фронт мстить за погибшего отца и умершего от голода брата. Он погиб 26 апреля 1945 г. под Берлином». Фаина Л. добавляет, что Феликс был у матери единственным сыном. До победы, до жизни ему, отвоевавшему два с лишним года, нехватило всего двенадцати дней.

Ох, играет судьба, ох, и резвится! Борис Ломоносов – крепкая русская фамилия у еврейского парня! – из Вязьмы доброволец, был на фронте с первого дня войны и убит двадцати шести лет 8 мая 1945 года, в самый день победы. От звонка до звонка! И даже после звонка: артиллерист Зяма (Евгений) Кричевский,

1923 года рождения погиб, освобождая Прагу, 13 мая 1945 года (мать, Доба Ломоватская, узнав о том, повесилась).

Для сравнения: Анатолий Турк, девятнадцатилетний танкист, в 1943 году «погиб в первом бою»; Матвей Бекер, слесарь из Винницы, призван в армию 21 июня 1941 года, в первый день войны - убит назавтра, двадцать второго июня.

19 марта 1945 года в Курляндии (Прибалтика) погиб В. Кагановский. На фото крепкий парень в валенках и лётном комбинезоне, в папаше набекрень. Подбородок с ямочкой, горящие глаза, весёлый рот, одна рука на поясе, другая в бок упёрта залихватски... Кагановский был в семье Вениамин – так следует из Листа, – а воевал он Василием, что, наверно, облегчало ему ратную службу, а может, просто было данью большевистской интернациональной стихии, столь заманчивой для советского еврея, особенно такого боевого, такого «свойского» в лётной школе, оконченной в 1940 году, такого уже не местечкового, не забитого, не галутного, такого сильного...

К листу приложена истрёпанная, ветхая, многократно сложенная и по сгибам протёртая страничка – письмо однополчан Василия Кагановского его брату: «...Вася не вернулся с боевого задания, Он погиб смертью храбрых. Машина была подбита вражеским снарядом Зенитной Артиллерии и не дотянув до своей территории сел у немцев, где и был убит. Это был замечательный друг, хороший товарищ одним из лучших в полку считали его и лётчики и командование. ...у стен Сталинграда воевал вместе с нами, участвовал в беспримерной в истории битве за Днепр и сражался у стен города Русской славы Севастополя. Он участвовал в освобождении Советской Прибалтики, где и отдал свою молодую прекрасную

жизнь. Это был товарищ, полный огня и энергии, горел кипучей ненавистью к врагу. Правительство наградило его орденом «Красной Звезды», командование неоднократно выносило благодарности. Мы, его боевые друзья, никогда его не забудем и мы будем мстить за него беспощадно и жестоко до тех пор пока хоть один немец будет в живых. Вот и всё. ... С приветом к Вам. Колесников. Баталин».

Ещё фотография, групповая: семья Драпкиных из города Сенно (Белоруссия). Мама Эська – деревенская красавица: славянски светлокудрявая, широколицая, гладкощёкая, высокий лоб умницы, разлёт бровей, чёткий очерк губ. Сладко, должно быть, целовалась со своим Шмуйлом, и плодились исправно, как по расписанию, Перла (1926год), Лиля(1928-й), Фрума (1930), а в 1932-м Эстер. Одни девчонки, Эськаина крепкая порода, перешибающая Шмуйлову.

Глаза у всех – одни. Огромные еврейские глаза, полные мысли и печали – у самой Эьски, у Перлы с её хвостиками причёски на шее и пионерским галстуком, у Лили, самой красивой, в мать, у Фрумы несмотря на весёлую матроску и праздничный бант в волосах, у маленькой Эстер – ей на снимке лет пять: сидит под рукой матери, в бедненьком платьице, руки скрещены на груди, голова коротко стрижена, иконный взгляд богородицы... Одинаковые у всех глаза. Одинаковая у всех запись в Листах: «закопаны живыми 31 декабря 1941 года».

Канун Нового Года...

Евреев как-то увлекательнее убивать в праздник. Из средневековья повелось: что́ за Пасха добрым христианам без еврейского погрома? Теперь традиция доразвилась. В Листах днями массовых убийств обозначены и христианский Новый Год, и еврейский

Пурим, и большевистский День Красной Армии, и украинский День Петлюры. Всё годилось стать: для евреев – датой смерти, для убийц – гулянкой.

На оккупированной немцами территории, такой тогда огромной, сколько прокатилось подобных встреч Нового Года? Драпкины – пример из Белоруссии, пример из Украины описан Миндл Г. (Реховот, Израиль). На полях Листа она повествует о том, что произошло в городе Проскурове (нынешний, многозначительно заметим, город Хмельницкий) первого января 1942 года: «...за городом над большой горой выкопали траншею а под горой внизу выкопали 3 яма привезли всех людей конечно еврей, поставили их в этой траншее и в них зади стреляли и они бедные падали в эти ямы, а многие из них были только ранены их засыпали землёй, и ещё долго люди боролись, земля обнималась пока не задохнулись».

«Земля обнималась»? Может быть, «обминалась»? Или описка не случайная? Обнималась с мёртвыми?

Здесь, в Листах, на крайнем натяге нервов – стилистика образцово выразительна. Зал – Лаборатория языковедения (душеведения, жизне- и смертеведения). Слова вдруг оборачиваются смыслом вроде бы вторым, а на деле первичным, истинным. Как **профессия**, обозначенная словом «еврей». Или «малыш» о ребёнке. Или «пенсионер был слепой», «мать пятерых детей», «по хозяйству жила бедно», «парикмахер пулемётчик». А вот микроэпос: «Лея была хромая и старенькая, жила с сыновьями Шмуэлем и Ноахом».

Родство или отношение к погибшему описывается не только обыденным «брат», «племянник», «знакомый», «однопольчанин», но и «читатель» (Лист на убитого писателя), «соседка-

красавица», «я земляк-пациент» (погибшая – врач), «моя родная мама», «мой учитель», «друг-любимый» и просто «я любил её». О младенце, рождённом и убитом в Минском гетто, начертано: «долгожданный сынок сестры».

Место жительства во время войны может быть указано торжественно: «поля сражения на войне», подробно: «начало войны Одесса, затем армия и исчез» или предельно кратко: «в могиле». (У Зала и география своя: центр мира – Освенцим, центр Литвы – Девятый форт, Рига и Минск – точки на карте, а Румбуле и Тростенец – столицы; здесь главные места – места не жизни, а смерти: украинские Яры, Сосёнки возле Ровно, 9-й километр Симферопольского шоссе, Тракторный завод в Харькове, артиллерийские склады в Одессе...).

Сквозь буквы, то корявые, дрожащие, то чёткие, машинописные, сквозь тексты, то ясные, то невнятные – проступают и автор записи, и умерший, и глубинная суть ситуации. Лаборатория Откровения.

Самый показательный материал, конечно же, в пункте **Место и обстоятельства гибели**: «Уральск от горя» (об умершей в эвакуации), «увели в Старый Константинов и там ПОГУБИЛИ» (именно так, крупно), «сброшены в яму, где хранятся 220 стариков и детей евреев», «убит врагом пал за Родину», «вийшла из гетто, нашлы ии замучену», «погиб удушением немцами людей в подвальном помещении», «утопили в Днестре как инвалида без ноги», «пропал на фронте», «издержки эвакуации», «детский погром»...

«Не могу знать, ведь я был на фронте», – оправдывается автор Листа или только коротко вздыхает: «Откуда я могу знать?» (**Ф.Ф.**, Олбани, США).

Айзик К. (Борисов, Белоруссия) пишет с горьким пафосом: «Пришёл фашист трижды проклятый и уничтожил нашу нацию», у **Давида Златкина** (Ашдод, Израиль) почти стихи: «уезжали-убегали от фашистов, но не убежали», «кидали убитых и полуживых в колодез на школьном дворе». **Р. П.** (Прилуки, Украина) о группе мобилизованных в армию сообщает ёмкой прозой: «все по дороге с военкомата под Пирятином попали в плен, где пропали все документы и люди». **Обстоятелен**, спокоен, словно речь не об его отце, **Маркс С-нов** (Харьков, Украина): «Был задержан полицией на месте ночлега, на чердаке гостиницы «Красная» в гор. Харькове, за то, что еврей и после этого его никто не видел и не было о нём известий».

О смерти семилетней **Белы Я.** сказано: «на этапе в концлагерь, где-то в Одесской области, гнали вместе с матерью, мать выжила» – в две строки полная повесть. А в Листе на пятнадцатилетнюю красу-девицу под её портретом **обстоятельство** – одно только слово «Гитлер!!!», и на трёх восклицательных знаках трижды срывается, ковырнув бумагу, перо.

Иосиф К. (Кфар-Саба, Израиль) о смерти отца написал – короче некуда: «бомбой». Озаряет же человека в одно слово уложиться! А другому никак не обойтись без дополнения к Листу: то ли записки, то ли справки, то ли письма с фронта.

Чиновничий язык справок («канцелярит», говорил К.И. Чуковский) тоже замечателен применительно к Катастрофе.

Делопроизводитель Мариупольского ЗАГС'а (Украина), от руки воспроизведя на листе из конторской книги **Свидетельство о смерти** (тогда, в 1944-м ни бумаги, ни бланков нужных было не найти), красивым почерком с изящным нажимом пера заполнил строки: «Гр-н: Сигал Давид Исакович.

Возраст: 23 года. **Диагноз:** Расстрелян немецкими оккупантами».

Старик Э. Ромм остался с парализованной женой в оккупированном Киеве; оба погибли в Бабьем Яре. Нетрудно представить, как он катил больную жену (ему 77 лет, ей 69) в коляске или, может быть, повезло с подводой и как они доволоклись до Яра, где му́ку их дороги милосердный Бог наконец-то оборвал пулей, будем надеяться, сразу смертельной. Всё это обозначено в справке киевского капитана милиции Гайдука от 24/ХІІ-43 г.: «Ромм Эльяш и Ромм Хана изъяты немцами в 1941 г.».

К Листу на фронтовика Михаила Ароновича Штейнлухта (трижды ранен: Москва, Курск, Украина; первым ворвался в Волоколамск; на фото лихой полковник: озорной прищур, кудри из-под фуражки, грудь в орденах) его брат прилагает **документ Центрального Архива Министерства Обороны номер 3/139776:** «...10-11 ноября 1943 года 791 стрелковый полк 135 сд [стрелковая дивизия], в составе которого был полковник Штейнлухт М.А., был отрезан... и находился в окружении... 15 ноября 1943 г. при попытке выхода из окружения полковник Штейнлухт был тяжело ранен. Его сожгли в скочищенской школе немцы. Ст[анция] Скочище... Киевской области».

Гвардии лейтенант Хацкель Б. сгорел в танке при взятии Кенигсберга 29 января 1945 года. Его сестра Элька прислала последнее письмо двадцатилетнего брата: «фронтowej треугольничек», написан за 16 дней до гибели, 13 января, число 13 вверху письма обведено фигурной рамочкой – выделено со значением. Каким?

«Боевой гвардейский привет! Дорогие мои! Сегодня для меня большая радость. Получил сразу 8 писем и все от вас. Только читать их пришлось в дороге... [Речь о

победном наступлении]. Крутом всё «дышит», шум, но всё же приятное ощущение... Как хорошо, что в четвёртый раз мне приходится участвовать в таком благородном деле. Постараюсь выполнить ваш наказ и в недалёком будущем вернуться с победой. А победа недалеко, она уже виднеется в дымке рассеивающегося тумана (Утро туманное). Так, дорогие, дело обстоит у меня и вообще у нас. Подробности узнаете раньше, чем я опишу. Но запомните этот день.

Ну, дорогие, писал бы и больше, но некогда... «Катя» [миномёт «Катюша»] зовёт. Через пару дней напишу более подробно. Только попрошу не волноваться. Будьте стойки и выдержаны.

Привет всем родным и знакомым, Оставайтесь счастливыми и здоровыми. Целую крепко-крепко

Ваш сын и брат...

...и размахисто, крупно, весело швырнул Хацкель на страницу свою подпись. Победа, видно, в ту секунду подмигнула ему, обнадёжила. Но встряло в письме пророческое словцо родным: «оставайтесь».

Иное послание с фронта получила мать Изи Островского (москвич, 22 года): «Здравствуйте, уважаемая Г. Островская! Сообщаю печальную весть, что Ваш сын был тяжело ранен и как нам сообщили он умер в медсанроте.

У меня тоже где-то мать обомне беспокоится и я решил сообщить Вам чтобы вы не терзали себя ожиданием. Не знаю может быть я сделал плохо но не я в этом виноват. Пока всё. Извините но ничего не поделаешь, приходится мириться с судьбой.

Командир подразделения в котором служил Ваш сын
Ермакович Семён».

Подивиться бы, даже улыбнуться стилю и слогу, когда бы не мать, и сын, и смерть...

Зал – театр теней. Тени страдальцев, героев, подонков... И тех, кто пишет Листы, и тех, кто **за** их словами. Витает и тень Исаака Бабея, даром что не дожил до этой войны.

Приложение к Листу на 18-летнего Цалика Хвойницкого:

«Добрый день Мамаша!

С фронтовым приветом к вам Фёдоров командир и товарищ вашего сына тов Хвойницкого. Дорогая Мамаша я вам вторично сообщаю, несмываемая для вас прескорбня о смерти тов Хвойницкого для вас сына, а для меня как лучшего товарища, и первого защитника Нашей Советской родины, 5 ноября 1944 года в 9 часов утра, в борьбе с Немецкой Чумой. Немецкая пуля попала в Сердце тов Хвойницкого и всего он жил 4 минуты, и молодое Сердце защитника родины перестало биться. На Венгерской территории, Мы похоронили хорошо тов Хвойницкого И поклялись перед его Телом Молодым что отомстим, дорогой нашъ тов за твою Молодую жизнь вырванную Немецкой Чумой. Дорогая Мамаша разрешите вас заверить что эта Смерть вашего Сына, легко не обойдётся. Мстим и будем мстить пока наши руки поднимаются ноги ходят и наше сердце бьётся. Дорогая Мамаша я ещо вас прошу от имени сибя не растраивайтесь Осмерте вашего сына, дорогая Мамаша поймите что это война, каждый день десятки погибают наших Героев. Лишь одно прошу напишите как получите письмо пока досвидания остаюсь жив и здоров Фёдоров Василий Аркадьевич. Пишу [неразборчиво] в пять часов утра».

Неразборчиво то, что стёрлось на сгибе, остальной текст чистый, без помарок, - не иначе, писалось с черновиком; слова выведены старательно, заглавные буквы – по авторскому разумению...

В части, где служил Михаил Волянский, нашлась машинка, чтобы отстучать его отцу тесными, через один интервал, строчками: «Мы товарищи вашего сына по оружию получили Ваше письмо прочли вместе и с глубоким сожалением относимся к Вашему великому горю... Дорогой отец нашего товарища я Вам кратко опишу момент роковой для Вашего сына, мы были в одном жарком бою, враг подтянув свежие силы /это за рекой Вислой/ и имея перевес в войсках неоднократно переходил в контратаку, на нас шли танки и пьяная гитлеровская сволочь, но русские солдаты истинные багатыри уничтожали вражескую бронь и солдатскую пагань, все их танки были отбиты. И вот уже вечером нас послали выполнять одно задание я шёл впереди и ещё товарищи сразу в том числе Ваш сын. Враг вёл ожесточённый огонь пулемётный и орудийно-миномётный. Слышу говорят Валянский ранен, мы кинулись к нему, его ранило разрывной пулей в левый бок, а в правый вышла, рана была смертельна. Помощь была оказана, своевременно был доставлен в санчасть. Мы знали, что он умер, но я не хотел Вас сразу поразить таким известием. При перевязке он всё время был в сознании, но рана была очень серьёзная и мы знали, что ему не выжить. По вопросу о личных вещах дорогой тов. Не осталось ни чего. Там было дело такое, что не до вещей его документы и кошелёк всё это направлено было в санчасть. Я как мне помнится когда бы не одинаковы по возрасту 1903 г. рожд. Я тоже отец и искренне понимаю и сочувствую Вам... Где лично в каком месте был ранен и похоронен Ваш сын я Вам этого не сообщу пока что нельзя, если Вам желательно это узнать держите мой домашний адрес: Курская область Троицкий район, Бершаковский сельсовет Цыбульник Александр Максимович.

Пошёл судьба остаться мне живому тогда все подробности опишу конечно после войны, а сейчас

уважаемый тов. нечем больше облегчить Ваше горе. Необходимо мужаться и крепнуть ещё больше должна нарастать ненависть к проклятому врагу. Побольше помогать фронту и приближать развязку с гадом. Помните, что сын ВАШ погиб выродками человечества ни как трус, а как настоящий г е р о й! Меня одно удивляет в Вашем письме, что вы призываете бога! о есле бы он был! Разве можно достигнуть до того, что сделали фашисты во всём мире с народом, а особенно с Вашей национальностью. Я лично против всяких богов ну за это извините, а только так. У меня сердце больное. С приветом Цибульников»..

У Бабеля («Отец» из «Одесских рассказов») полунищая Баська тщетно жаждет зажиточного Соломончика Каплуна. Бабелевская коллизия счастливо разрешилась на Листе, где имя – Бася, фамилия – Каплун. Правда, здешняя Бася не из Одессы, а из села Ингулец Днепропетровской области и ей всего 12 лет. Зато прочее впрямую по Бабелю: и погромное изуверство, и словесное кружево. «Убита топором полиция при требовании драгоценностей», – пишет сестра Баси, а на обороте Листа добавляет справку:

«Судьба колонии с. Ингулец...

До войны повидимо сверху было указание всем эвакуироваться бывший председатель по фамилии Потураев заехал к нам... мы все находились на подводах на легковой машине и заявил всем... что убивают только коммунистов одна женщина с колонии сказала как библии сказано «Если бьют по одной щеке подставляй другую» и все выгрузились. Мы ждали самых старейших ихнее слово для всех они вышли и благославили в путь, а мы старые нам разницы нет где умереть и наш караван двинулся в путь.

В последствии в нашей местной газете описала бывшая сирота с приютного дома их всех эвакуировали

на Урал что это село было зажиточное и богатое они любили и приходили на праздники слушать песни и танцы.

Погибло примерно одна тысяча евреев».

Вернёмся на фронт, к Листу на Изю Островского, там приложена похоронка - извещение о смерти, обычное: «верный присяге, проявил геройство и мужество... умер от ран...».

Подобную похоронку получили и родные Арона Ю., но за ней совсем другая история. «Он был врач и погиб 22 лет, от пули советского офицера, которому показалось, что врач-еврей уделяет больше внимания раненым евреям, чем другим. Нам об этом написал его ординарец», – сообщает дочь Арона Ю., о рождении которой отец там, на фронте не успел узнать.

Еврейская война – особая. Меир и Эстер-Хана К. (соответственно 22 года и 20 лет) бежали из гетто в Опатове (Польша), где погибла вся их семья, около тридцати человек. Они нашли в лесу польских партизан (Армия Крайова) и воевали вместе с ними, а осенью 1942 года теми же партизанами – убиты.

Раненый солдат, русский, которого санитары вынесли с поля боя, рассказал: рядом истекал кровью еврей Соломон Беленький, санитары пригляделись к нему, один хмыкнул: «Евреев не берём» – и Соломон остался умирать в ростовской степи.

Зал Имён закручивает сюжеты.

25 июня 1941 года жена и сестра Абрама Сойфера из холодного Ленинграда повезли на лето отогреться своих детей в южный Мариуполь. Там их и накрыли немцы. Две женщины и трое детей, все расстреляны. Оставшийся в Ленинграде Абрам умер от голода в блокаде.

В том же Ленинграде и тоже голодной смертью в июне 1942 года умерла Ида Г. Муж её, портной Иосиф Г., убит на фронте, в ополчении. Десятилетнего сына Григория Ида Г. сумела вырвать из блокадного капкана, эвакуировать. Он «убит немецкими фашистами вместе с другими детьми и воспитателями еврейского происхождения в станице Родниковской Краснодарского края», – пишет другой сын Иды, **Ефим Г.** Он пережил блокаду, пережил родню – хэппи-энд?..

Семнадцатилетний Марат Сергейчик успел пройти Минское гетто, отвоевать в партизанах, потом в армии и погибнуть в бою в Восточной Пруссии. Ему было из-за чего драться: в Листах **Раисы Ш.** сага о гибели большой его семьи. Его мать Шифра повешена за связь с партизанами, 16-летняя двоюродная сестра зверски замучена, дяде Эле отрубили голову на бойне...

Белла С. (Ришон ле-Цион, о семнадцатилетнем брате Иосифе):

Когда мои родители убегали из Киева, брат мой Иосиф не пошёл с нами; за день до нашего ухода я случайно подслушала разговор моего брата с друзьями, они сговаривались идти в военкомат и записаться в ополчение для обороны города. ... когда я возмущённая сказала брату, что всё расскажу маме, он поднёс кулак к моему лицу и сказал, что побьёт меня. На следующий день мы – я с отцом и матерью ушли из города. Брат объяснил родителям, что если он не явится в военкомат, его расстреляет военный трибунал.

...после войны я случайно встретила одного из друзей моего брата и вот что он рассказал:

Весь батальон ополчения сразу же разогнали, велели идти по домам, т.к. немцы уже были в Киеве. Брат с другом Меером пришли к себе домой, но квартира уже

была занята соседями. И они ночевали на чердаке... На 3-й день их стал прогонять дворник. Ещё два дня они жили на чердаке, откупаясь от дворника ворованными продуктами (базарными). А затем настал день, когда дворник их прогнал. Была ночь, идти некуда и страшно – был уже комендантский час.

Вот слова друга брата: «Иосиф взял пистолет, где-то раздобыл и сказал, что будет пробовать уйти из города». ...на этом след потерян.

Татьяна Ф. (Москва; Лист на Лёничку Шлеер из Житомира):

Когда Лёничку забрали, это было внезапно, она ушла из дома, не простившись со стариком-отцом. Она просила немцев отпустить её попрощаться с отцом... Немцы поверили ей и отпустили под честное слово, что к расстрелу она вернётся. Старик-отец, очень больной, после прощания пол-улицы полз за ней умоляя не возвращаться (он не мог ходить). Она сказала, что дала слово, ей поверили, она обязана вернуться. Она вернулась и её расстреляли. А через некоторое время расстреляли и её отца.

Маня Склярова с 11-летней дочерью Зиной из города Остёр (Украина) с июля 1941 года прятались в погребе украинца Меланченко, Два с лишним года... В конце октября 1943 года они услышали близкий гром пушек и, сообщает **Мария К.** (Иерусалим), «ошиблись, сочтя канонаду победной, впервые вышли на свет из тьмы погреба – и обе были расстреляны».

В Смоленске заведующий складом Айзик Добрушин «работал с приставленным русским охранником Ильёй. Партизаны хотели организовать побег, но он отказался, чтобы Илью не расстреляли немцы. Илья его и застрелил во время расстрела в

Смоленском лесу». Это пишет **Елена Ф.**, бывшая рабочая того же склада и партизанская связная, русская женщина – как тут не поверить?

Я, Г. Галина... хочу рассказать... о гибели моих родных в г. Умани Киевской области... в июне-июле 1941 года.

...в городе было безвластие. Красная Армия ушла, а немцы ещё не пришли. Был только маленький немецкий разведотряд с лейтенантом во главе. Украинские учителя пошли по всем домам собирать евреев. Их повели за город, за дендропарк «Софиевка» и приказали рыть яму. Потом их затолкали в эту яму живыми и засыпали землёй. Люди рассказывали, что несколько дней земля колыхалась и была в этом месте пропитана кровью. Руководили злодейством украинские учителя, а немецкий офицер стоял в стороне и наблюдал.

...одна девочка (11-14 лет) выбралась из этой страшной могилы, и её, всю окровавленную, спасла украинская семья.

Виляет украинская тема... Да не одна украинская!

Софья Василенко (Геничеськ, Украина):

Отец [Владимир Прихненко, украинец, на фронте попал в плен, бежал] знал, что мама [еврейка] осталась в оккупированном Геничеське, будучи раненным, пробрался в город и до последнего своего часа был ей опорой и надеждой. В гестапо ему предлагали отказаться от мамы – в газете или по радио – обещали жизнь. Он выбрал смерть вместе с ней.

Родня, впрочем, дело понятное. В Горках (Белоруссия) учитель Павел Исаков, русский, вслед за еврейкой-женой и двумя детьми «сам пошёл в колонну

евреев, которую вели на расстрел» (свидетельство **Марьям Т.**, Ленинград). В Крыму, где немцы караимов не уничтожали, караимка Софья Пастак отказалась оставить под расстрелом племянницу-еврейку, погибла вместе с нею.

И ещё детектив, более подробно развёрнутый. Когда немцы пожрали Чехословакию, там жила Геня К. Лист на Геню К. сопровождают две бумаги. Первая – открытка, высланная 25 октября 1938 года из Праги в Москву:

«Дорогие, милые Маша и Дора! Вы не отвечаете вот уже второй год. Это уж не интересно, а просто для вас дёшево, для меня сердито. До сих пор я выдерживала маму заботилась о ней. Исаак уже 1,5 года как без работы в Америке. Я вам писала об этом, но вам как видно удобнее не реагировать на это. Я бы этого от вас не ожидала. Теперь так: мы бежали из Судетов... и оставили всё мебель, вещи, своё дело, всё, всё. Подумайте двое маленьких детей и маму везла полуживую как раз после припадка была. Здесь мы все 5 в одной маленькой комнатухе и абсолютно без средств... Прошу вас бросьте ваше интересное молчание и будьте людьми. Я была на русском консульстве и мне сказали, что если бы вы хлопотали, то через банк могли бы мне для мамы посылать. Если вы на этот раз не ответите, то, признаюсь, отказываюсь всё понимать. Жду вашего скорого ответа. Ваша Геня.

Обратитесь в Наркомфин... и постарайтесь получить разрешение посылать деньги. Я начала хлопоты о въезде в СССР. Напишите».

Вторая записка от автора Листа, **племянницы Гени К.**: «Это последнее письмо моей тётки Гени. Обращается моя тётя Геня к своим сёстрам Маше и Доре, жившим в Москве, с просьбой о помощи. Однако в 1938 году в Москве уже не было ни Доры, ни Марии.

Моя мама Мария находилась в это время в Карагандинском лагере в Казахстане как член семьи изменника родины. (Отец мой был расстрелян в 1936 г. как враг народа). Сестра Дора находилась в это время в Кокчетаве в Казахстане, куда был сослан её муж. Письмо попало к нам через годы от соседей, сохранивших его.

Как могла Геня К. там, в европейской Праге понять, почему из Союза – молчат?! «Не отвечаете уже второй год»... Может, за те письма и загремели в лагерь и ссылку Маша и Дора: переписка с заграницей – шпионаж или хотя бы, как обозначали в обвинениях, *ПШ* – подозрение в шпионаже, что по советским нормам тогда обеспечивало 8-10 лет несвободы. Не только еврею, конечно, но в скольких еврейских судьбах, как в этой семье, состыковались Гитлер и Сталин?

В октябре 1941 года в массовых расстрелах евреев на мариупольской Агробазе погибли Екатерина Антон с дочкой Калерией и Мина Сигал с двухмесячным младенцем. В обоих случаях дети полунемцы, их, может быть, спасли бы отцы, но они именно как немцы были перед оккупацией оторваны от семей и высланы советскими властями.

Лист на Абрама (Аркадия) Амрома: «В 1939 г. был посажен в ГУЛАГ [советские концлагеря]. Освобождён из ГУЛАГ'а в 1941 г. – добровольцем ушёл сразу на фронт и погиб там 28 октября 1943 г.».

Лев Г. (Пало Алто, США):

Герш Каплан был репрессирован в 1936 году и погиб в Гулаге. Тётя Софья Каплан и её дети [трое, в том числе двое близнецов, родившихся после ареста отца] были сосланы и вернулись в Киев в конце 1940 года. Они были столь измучены ссылкой, что не имели сил вовремя уехать из Киева и погибли в Бабьем Яру.

На тень Гитлера да тень Сталина – вот когда черно невпрогляд. Впрочем, человек, прошедший гитлеровский Заксенхаузен и сталинский Каргопольлаг, заметил: «В советском лагере я, в общем, знал, за что меня могут убить, в немецком – ничего не предугадаешь». Так что разница всё же есть. Тем более для евреев. За неделю до захвата немцами Каунаса оттуда депортировали в Сибирь семью Шварцманас. Берл (Дов) Шварцманас «по делам находился в Вильнюсе и остался в оккупации» – это пишут в Листе на погибшего Берла его братья Юда и Илья, они в Сибири выжили.

И наконец, история из самых, может быть, ёмких, набор типичных ситуаций, учебник Катастрофы. **Р.К.** пишет о родственных ей семьях братьев Рабиновичей, Идла и ушедшего на фронт Сёмы:

В июле 1941 года, когда фашисты были уже на подступах к Балте., эти две семьи загрузили свою телегу подушками, одеялами, одежкой для детей и поехали на восток, подальше от фронта. Дети сидели на телеге, а мы взрослые шли пешком. ...в начале или середине сентября мы очутились около г. Ростова-на-Дону, на станции «Верблюды» в зерносовхозе. Надеюсь, что немцев дальше не пустят, мы остались здесь работать. ...мы рвали сахарную свеклу, сбрасывали в кучи и покрывали листьями. Работали с утра до ночи и взрослые и дети. Нам на поле вывозили обед. Так прошло около полутора месяцев. Фронт приближался. Орудийные выстрелы грохотали днём и ночью. Моя мать и я (мне было 17 лет) обратились в правление совхоза с просьбой дать нам расчёт за заработанные трудодни, но нам ответили, что мы ещё в долгу за обеды. ... Рабиновичи решили сами пойти... потребовать расчёт, то есть они

остались ещё денька на два. Мы с мамой на рассвете бежали из зерносовхоза...

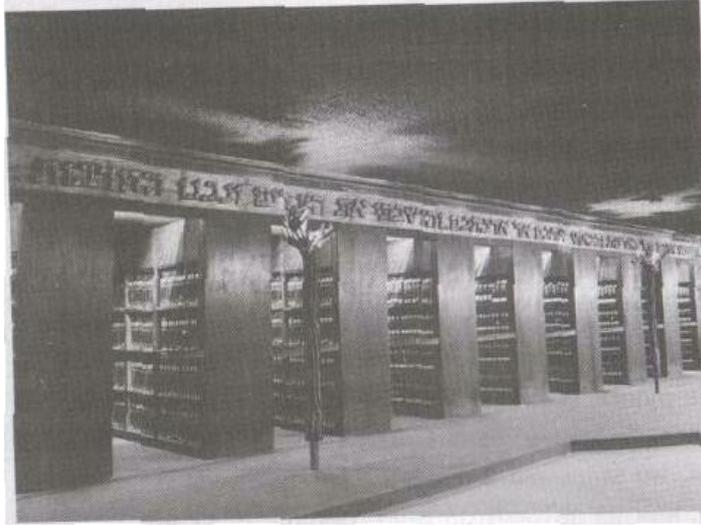
Когда закончилась война, к нам пришёл Сёма Рабинович со своим старшим сыном Сулей, которому было уже лет 18, но Суля был совершенно седой. И отец и сын поведали нам о гибели их семьи. На второй или третий день после того, что я с мамой бежали из проклятого совхоза, и две семьи Рабиновичей собрались, наконец, уходить, им дорогу перегородил десант эсэсовский, спросили: «Юден?» [«Еврей?»]. Загнали взрослых и детей поближе к речушке, заросшей камышами. За камышами Суля пас лошадь и увидел, как стогнали в кучу его маму-красавицу Симу с ребёнком на руках, братика, сестричек, дядю Ида и тётю Рейзу с детьми и бабушку Лео. Сима кричала, звала сына: «Суля, Суля!», но мальчик всё понял и спрятался в камышах. Он видел, как из автоматов расстреляли всех его родственников, всех 9 человек. Когда стемнело, Суля ушёл с места казни, долго бежал, наткнулся на советские войска, его взяли воспитанником в армию. Он был светлым мальчиком, никто не заподозрил его в еврействе. Так он был в армии до конца войны, потом разыскал отца, служившего в лётных войсках. Суля с отцом поехали в Ростовскую область, на ст. «Верблюды», и Суля показал папе, где погибла их семья. Они обратили внимание, что сельские ребяташки носили одежду детей семьи Рабиновичей.

Спустя несколько лет мы узнали, что Сёма Рабинович умер от рака горла, а Суля спился и где-то под Москвой погиб.

...я всю жизнь, до последних дней буду помнить, как Сёма и Суля сидели у нас в 1945 за столом, плакали и рассказывали. Это не забывается.

Тут вся война еврейская: отец на фронте, семья в бегстве, мытарства на чужбине, боевые подвиги

немецких десантников, расстрел, мародёрство, судьба выживших счастливых, седина в восемнадцать лет... И сегодняшний обратный адрес на этом письме – Германия...



Зал Имен

Чёрные ниши, чёрные ряды папок... Полы Зала выстланы мягкой тканью, глушащей шаги. Тишина, немота... Тупик...

Перед сумрачным строем ниш почётным караулом замерли шесть светильников, По числу убитых миллионов. Тонкие столбики равно отстоят друг от друга – точный ритм, словно метроном отстукивает бесконечный ход времени. Столбики свиты из металлических прутьев, схваченных сваркой, прутья

извиваются снизу вверх, где распускаются развёрстыми кистями множества рук – стебель, несущий на себе пышное соцветие. Руки, раскрытые ладони – старинный символ благословения и защиты.

Может быть, тут и была главная идея скульптора Перли Пельциг. Но внутри соцветия затаилась небольшая лампочка, и свет, пробиваясь оттуда сквозь сплетения ладоней и пальцев, кладёт их чёрными тенями на потолок. Это – между нишами, где клубятся призраки убитых, и местом для посетителей, это – между живыми и мёртвыми, и руки то ли тянутся из могил сюда, в жизнь, то ли мы протягиваем их ушедшим... Связь людей, связь времён – она всё-таки не рвётся.

Пришёл в Зал человек, он полвека уж иерусалимец. В 1939-м бежал из Варшавы, семья (большая была семья) осталась там в гетто и погибла. Он пришёл в Зал спросить, не написал ли кто-нибудь Листы на его семью, и, если удастся, узнать, как и где они умерли. И сотрудник, отжужжав на экране своей машинки ленту с фотографиями Листов, высмотрел старику Лист на его отца, подписанный братом, живущим в Соединённых Штатах Америки. Через пятьдесят лет чёртиком из волшебной шкатулки, птицей Феникс из пепла – восстал братик Мотеле. Через мёртвого отца соединились братья...

Зал – не только арена трагедий, случаются – хоть и редко – мелодрамы с утешительным, в какой-то мере, концом.

В Йом А-Шоа – День памяти жертв Катастрофы по всему миру в еврейских домах, общинах, синагогах, школах, собраниях произносят имена погибших. Чаще всего имена запрашивают в Яд ва-Шем'е, и Зал Имён загодя рассылает списки, и раскатывается по земному

шару поминание... Капли боли, искры памяти, эхо
Трагедии – имена, Имена, ИМЕНА:

*Хаим Рабинович, Малка Энден, Сёма Гольдман,
Моисей Бонфельд, Нехамя Нуринкис, Нелли
Мошинская, Ошер-Велл Сребреник, Эммануэль
Рингельблюм, Хая Нудельман, Эстер-Рухл
Бранденбургская, Иосиф Розенштайн...*

*...Аушвиц, Львов, Печора, Маргелан, Стародуб,
Балта, Клоога, Терезин...*

...расстрелян, задушен, утоплен, сожжена...

...гетто, блокада, эвакуация, лагерь, фронт...

*...Абрам, Злата, Фрума, Альберт, Григорий,
Евдокия, Беня, Циля, Жюль, Нюся, Фейгеле...*

Из небытия извлёк их Зал, дал на миг коснуться
живых, и уходят они снова в небытие, в
бесконечность, в небо...

ПОСВЯЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ
ИЛИ
«ЗАЖГИТЕ СВЕЧКУ
ЗА МЕНЯ»

**Матерям, потерявшим детей в Катастрофе
Матерям, потерявшим детей
Матерям**

Бурлит страна Израиль. Работаем, гуляем, спорим, пляшем, любим, воюем – катится жизнь изо дня в день, изо дня в день, круглый год и вдруг замирает, наткнувшись то на вой траурной сирены в Йом а-Шоа, День Катастрофы, то на укор совести: как ни морочь душу быт, как ни норови сердце прочь от боли – а кольнёт оглянуться в давешний мрак и поплывут оттуда лица, тени, слова, запахи крови и страха, дробь расстрела, хрип, стон, крик. Горе вопит.

Самое горькое горе молчит. Или чуть шепчет. Самое горькое горе – материнское.

Ф. К. (Нью-Йорк, США):

24 июня 1941 года мы по Могилёвскому шоссе ушли пешком из Минска. Накануне войны родители отвезли в загородный лагерь мою десятилетнюю сестричку Елену... Забрать её из лагеря мы не смогли. Основываясь на ложной информации, что детей из лагеря вывезли.., родители всю войну рассылали письма в разные детские дома, надеясь напасть на след своей дочери. Но Леночки нигде не было. ...после войны мы узнали, что Леночка разыскала в Минске семью брата

матери и с нею погибла во время погрома в гетто... Трагедия эта постоянно была в глазах моей матери.

Софья Б. (Эйлат, Израиль):

Холмецкая Г. [70 лет] в 1929 году осталась вдовой и 8 детей воспитывала сама. В 1941 году на фронт были отправлены 4 сына: Иосиф, Лёва, Гриша, Исаак; 3 зятя: Зорух, Давид, Матвей; внуки Борух (Борис), Ефим, Леонид.

Иосиф и Григорий пропали без вести, Давид и Матвей пропали без вести, Зорух погиб 8 августа...

...она с двумя дочерьми Мерой и Нехамой и 6 малолетних внука выехала на Урал... Ни от сыновей, ни от зятьёв известий не было, дочери работали, а она была с детьми. Целыми днями молилась богу, что бы он даровал победу, последний кусок отдавала детям, т.е. внукам. В 1943 году в канун ём-кипура она умерла. ...умерла от тоски по своим детям.

А в Крыму, занятом гитлеровцами, нашлась Екатерина Э., на фотографии она упитанная жизнерадостная молодка, лицо не сказать, чтобы чем-то удивляло. Снимок прислала Л.А., сестра екатерининого мужа-еврея, и приписала: «мать (татарка) крохотного ребёнка отдала добровольно немцам... [После войны] была на десять лет осуждена. На фото мать-убийца». Л.А. ошиблась со словом «мать».

...Зузя когда-то была нарядной, весёлой, щёчки-яблочки. Сейчас платье выцвело, щека драная, сбит кусок лба – повидала виды кукла Зузя, что ж: ей больше полувека. Она под стеклом: экспонат на выставке в Яд ва-Шем'е.

Высоко над Зузей в мониторе крутится видеофильм, там хозяйка Зузи, израильянка Яэль

Рознер говорит об оккупированной Варшаве. Её, тогда трёхлетнюю Зофью, мама прятала в подвале, пока не нашлось девочке убежища за пределами гетто. Зофью выносил в рюкзаке с углём молодой парень. Шли долго, выбрались, наконец, из гетто, и тут девочка вспомнила, что в подвале осталась забытой Зузя, кукла её, дочка её.

Зофья, которой было велено ни звуком не обнаружить себя по дороге, встрепенулась, заколотила в спину своего спасителя, заговорила, заголосила – заставила нырнуть от прохожих в какие-то руины и развязать мешок.

- Ты чего? – спросил спаситель.

- Зузю забыли.

- Сумасшедшая, нам что, опять рисковать жизнью ради куклы?!

- Она не кукла, она моя дочь.

Парень (ему было 17 лет) сказал: «Нет!». Они спорили, Зофья редела. Сквозь рёв она крикнула: «Ну, что ты за человек?! Ты разве не знаешь, что мама не может бросить свою дочку?».

Они вернулись за куклой.

Этель Г. (Иерусалим):

...бабушка, мама и я выжили [в блокадном Ленинграде] лишь потому, что папа, артиллерийский капитан, служил на ленинградском фронте. ...папины сослуживцы отрывали от своего скудного пайка крохи хлеба и отдавали ему для нас. Меня не мыли – не было воды, сил и тепла. Меня зашили в принесенную папой шинель. Папины товарищи после госпиталя спали у нас на полу – мебели не было, всю сожгли. Иногда приносили наловленную мелкую рыбёшку.

Сестричка Тамара [4 года] умерла зимой 1942 г. Копать могилу было некому, и не было сил. Мама

положила её на саночки и повезла в больницу им. Куйбышева – один из пунктов сбора покойников. Она долго ходила с мёртвой Тamarой на руках не в силах опустить её на землю рядом с другими мертвецами. Сторож понял состояние мамы, подошёл и забрал из её рук Тамару.

Пять Листов пришли в Зал Имён из американского Хартфорда, штат Коннектикут, от **Рахили Г.** Лист первый: Иче, восьми лет, «во время эвакуации заболел корью, умер в госпитале в гор. Сызране 19 ноября 1941 года», подписано «мать» и рядом, повторно и подчёркивая, «сыну мама». Лист второй: Фрейда, четырёх лет, тоже корь, и тот же госпиталь, и тот же день. Третий лист на грудного Тевье, его мать по дороге в эвакуацию родила, и он от кори, там же, тогда же. Трёх малых своих детей похоронила Рахиль Г. в день 19 ноября сорок первого года.

А ещё у неё погибли на фронте муж и брат – война балует...

Дина Ошеровна Карцовник из украинского города Херсона переехала в Израиль В её эмигрантском багаже, наверно, самое дорогое – несколько десятков листков давней семейной переписки. Дина Ошеровна передала их мне вместе со своими заметками.

Д. О. Карцовник (Тель-Авив):

Мой братик Изя с раннего детства поражал своими математическими способностями. Знакомые... задавали ему головоломные арифметические задачи (очень большие числа, а ребёнку 5-6 лет), так что мама даже запретила ему решать их. Частенько он просил: «Мама,

можно я отвечу?». Папа научил его играть в шахматы. Играл Изя очень азартно, страшно огорчался, когда проигрывал... ..в нашем местечке Шпикове обыгрывал всех взрослых шахматистов.

Учился Изя блестяще. Учителя говорили даже, что он просто гений. Учился с наслаждением, отдавая дань точным наукам. ...в 12 лет прочитал «Войну и мир» и, помню, говорил с мамой об этом романе. Он был очень требователен к себе. Закалялся, спал на жёсткой постели в холодной комнате. Готовил себя к большим интересным делам...

Ему было 15 лет, когда началась война. Вместе с мамой и папой он был в концлагерях и гетто в с. Печора, в с. Рахны. «Всё он изведаль»: голод, болезни, побои, бесконечные унижения...

В августе 1943 года немцы забрали из лагеря всех мужчин и расстреляли... Среди этих мужчин был и отец. Изю не взяли только потому, что он был болен, с высокой температурой не мог стоять на ногах.

За месяц до освобождения с. Рахны маму и Изю спрятали у себя в погребе Коноваловы – супруги-учителя...

Мама и братик остались живы. Голые, босые, без документов. Со слов мамы и Изи записали их данные, выдали свидетельство о рождении. И Изя был призван в армию... Он учился в военном училище в Костроме, а потом попал на фронт.

После трёх лет голода и изнеможения в гетто – солдатская казарма и учёба на износ. Еврейский мальчик, слабый, противно-жалкий – и пакостники-курсанты, издёвки антисемитов, тупость начальства, одиночество...

Изя Карцовник (из писем матери; они на воинских открытках, а чаще на клочках бумаги, то тетрадных, то

вырванных из книг или блокнотов; почти все карандашом):

29.06.1944. ...мне нелегко, но прилагаю всю свою силу воли, чтобы лучше учиться.

02.07.1944. Мамуся, я лишь теперь понял, как я тебя люблю... ...я уже совсем здоров, только болят ноги, когда мы много ходим.

10.07.1944. Мамуля! У меня только маленький клочок бумаги... ...если я ещё встречу с тобой, то сяду возле тебя и буду рассказывать, рассказывать, рассказывать...

19.07.1944. ...ты хочешь прислать мне несколько рублей. Этого не надо делать. Потрать на себя. Только при мысли, что ты уже не бедствуешь – я становлюсь сытым.

29.07.1944. Мне трудно, потому что тут не нужно иметь особенные умственные способности, а легко тому, кто физически здоров и вынослив. А какое моё здоровье – ты ведь знаешь. Но хуже всего, что у меня нет ни одного хорошего товарища!

20.08.1944. Мамочка! Мне смешно, когда я читаю твои наивные советы, где мне держать бумагу. Ты думаешь, что у меня есть какая-то торба [мешок]. Все вещи у нас забрали, чтобы не распространять всяких болезней, вшей... А если в землянке оставишь что-нибудь, то потом не найдёшь. Приходится всё носить в карманах. Понятно, как оно у нас? ... Постарайся, мамуся, послать мне в письме иголку. Я нуждаюсь в ней на каждом шагу.

28.12.1944. Дорогая мамочка! Может быть, это письмо моё будет последним, ибо это письмо я писал с большим трудом, сидя в траншее, Я теперь на фронте. А как зимой в окопах сидеть – этого ты не поймёшь.

Вообще, дорогая мамочка, теперь меньше думай обо мне. Если хочешь – пишите письма. У меня теперь совсем нет возможности переписываться... Карандаш валится с рук. Мысли путаются. Лучше бросить писать.

До свидания. Будь здорова!

Желаю тебе счастливой жизни. Обнимаю и целую. Изя.

А я вполне долг перед Родиной.

30.03.1945. Некоторые бойцы посылали домой посылки. Когда мы ещё были в походе, то на дороге валялось разное добро... Вчера командование выделило лучшим бойцам трофейного материала [ткань] на посылки. Меня не зачислили среди них. Мамуся! Я хорошо знаю., как ты нуждаешься во всём, и хотя в этих посылках ничего особенного нет (сахар и ещё там барахло), мне, конечно, обидно, ибо я всё-таки не считаюсь последним бойцом. О! Как я хотел бы хоть раз сделать для тебя что-нибудь хорошее! Но почему так получается, я смогу только тогда рассказать, когда увижусь с тобой. Не обо всём можно писать.

02.04.1945. ...какая радость читать слова, написанные рукой моей любимой мамы.

09.04 и 13.04.1945 [после получения от матери её фотографии]. Как я обрадовался! И как ты можешь говорить, что получилась безобразной! Для меня ты получилась красавицей...

Я храню её в левом кармане на груди, возле сердца своего. Эх, мамуля, как бы нам ещё увидеться, пожить вместе! Именно теперь, находясь в армии, я почувствовал, как ты для меня дорога. Но своей судьбы никто не знает.

Д. Карцовник:

15.04.45 Изя написал последнее письмо, прислал маленькое фото... Знал, что впереди бой, прощался.

17.04. в бою погиб.

Изя Карцовник /письмо от 15.04.1945/:

Дорогая мамочка! Хотя я недавно тебе написал, но я решил написать тебе ещё раз, ибо этого требует обстановка. Может быть, это письмо будет последним. Пока это письмо ты получишь, произойдёт, конечно,

многое. Но надо надеяться на лучшее, надо верить, что мы ещё встретимся... Текущие дни покажут всё...

Желаю тебе и Диночке, чтоб вы хорошо устроились и зажили счастливой мирной жизнью. Мыслями я всё время с вами.

Будь здорова! Обнимаю и целую тебя крепко-крепко-крепко. Любящий тебя Изя.

«Желаю счастливой жизни» – обычная концовка его писем и матери и сестре Дине (она жила в Одессе, ей он писал отдельно).

Д. Карцовник:

После войны кто-то из моих земляков мне сказал: «Твоя мама сама виновата, что Изя погиб. ...надо было записать его на год меньше». Маме моей такое в голову не пришло. В нашей семье как-то всегда жили без хитрости и лжи.

* * *

В украинском городе Ворошиловграде на улице Карла Маркса жила **Тема Браиловская**, семидесятилетняя вдова. Из шести ее сыновей четверо старших разбежались по стране, обзавелись женами, нарожали детей, и все им было недосуг показать маме свои семьи: то ли сыновья души получились по-советски несентиментальны, то ли жизнь слишком круто вертела свои зигзаги. Глодала Тему тоска, но она не жаловалась. Совестила Тему докучать собой.

Разразилась война, надвинулись немцы, и темины младшие, Толя с Яшей, уезжая со своим заводом в сибирский тыл, позвали Тему бежать. Отказалась Тема: «Езжайте сами. Не хочу, старая, быть вам обузой.»

Пришли на улицу Карла Маркса солдаты Гитлера, настал 1942 год, поползли слухи, что в пригороде, на Острой Могиле, стреляют евреев. Вызывают повесткой и увозят. Насовсем. Тогда-то и написала старая Тема письмо (без знаков препинания, последним выдохом):

Дорогие мои сыны не знаю кому попадет мое письмо из вас... не знаю, что мне ожидает сегодня каждую минуту жду повестку и почему я не поехала с вами лучше уж я бы в дороге умерла при вас да дело прошлое поправить уж никакими силами не поправишь если я не погибну то это будет чудо Божия а как хотелось бы мне вас видеть всех хотя бы на полчаса я до сих пор не знаю ни жен ни детей их т.е. моих милых внучат знать судьба моя такая

может это мое предсмертное письмо к вам если кто после войны приедет в Луганск я оставляю письмо Серадским для вас... они ко мне были очень добры в особенности сама Серадская а то пожалуй прежде времени погибла бы а теперь пишу что я оставила из вещей прежде всего часы и три ложечки все серебряные потом пальто две мои платья кашемировое и из искусственного шолка пусть будет моим внучкам шесть метров батиста... две простыни это все новое остальное все подержанное... пять полотенец одеяла скатерть... одна юбка белая Яшины белые брюки и три пары белья... И еще много кое что пуд жита муку и крупу две пачки табаку все это я отдала на хранение Серадским если приедет кто то прошу им быть благодарным и когда получите все поделитесь по-хорошему еще у них две подушки если смогу то еще дам подушки и перину а там как придется

прощайте милые дорогие сыны зажгите иногда свечку за меня в начале ноября ваша любящая мама

2-го ноября 1942 года.

Между последней строкой-подписью и датой немножко другим, более слабым нажимом карандаша и помельче, видимо, перечитав письмо, вписала Тема последние свои слова: «будьте счастливы и живите долго».

Прыгало сердце, спотыкались грамматика и рука... Мама уходила. «Будте счастливы»...

У киевских стариков **Хаси и Исаака Б-манов** сыновья ушли на фронт, а младшая часть семьи, дочери, снохи и внуки, бежали от немцев в далекую уральскую глушь под названием Кувандинка. Намытарясь в чужих домах незваными и нежеланными гостями, эвакуированные дети, вероятно, отписали про свое неустройство старикам, и тех встрепенула тревога. В начале августа 1941 года из Киева в Кувандинку донеслось:

Здравствуйте Дорогие Дети. Мы живы и здоровы дай бог вас скоро увидеть все оторвались от нас я всегда плачу... сонечка мы тоже страдаем но дома не на чужбине претстав себе наше переживание когда Боря от нас ушел и Муля остались одне Мулю перевели из Киева куда незнаем и почему... тетя и дядя уехали Надя и Ляля уехали. Гига и Лёля уехали Вера и Бася уехали так что много из Киева уехали... сонечка вещи ваши у нас смотреть на эту картину можно сума сойти крепитесь мои дети победа будет за нами разбили врага около нас стук грук но ничево все терпят... сонечка можно вам ехать обратно дома все есть ваша мама Хася.

Дорогая хозяйка я прошу вас не обижайте моих детей они имеют дома все не щитайтесь ни счем гора и гора не изходится человек с человеком всегда. Желаю вам добра...

Муж Хаси Исаак, деловито приписав подробности о взятых на сохранение вещах («забрал всю одежду и даже кровать забрал севодня на солнце сушу одежду»), добавил: «Каждый день плачем про вас потерпите Бог даст врага победим папа и дедушка И. Б-ман». И тоже обратил пару слезных слов к дальним хозяевам детей: «Прошу жалеть моих детей Бог вам помилует».

Это еще только начало августа, с фронта доносятся «стук грук», но верится, что немцев отобьют, сам Сталин обещал: «Победа будет за нами!». И все ещё живы, даже фронтовики, даже Муля, которого убили 11 августа 1941 года, а Боре быть убитым лишь в сентябре, Арона же вообще пока не взяли в армию. И голубеет августовское небо, но из его ласковой глубины все чаще и грозней взывают немецкие моторы, и в дыме бомбардировок тает, сникает надежда...

25 августа из Киева в Кувандинку отправляется десятикопеечная открытка, стандартная тогда, с работницей в лихой косыночке на месте марки. Время стариков Б-манов ужималось, как пространство на обороте открытки под слабеющей рукой Хаси, и она убористо сгоняла на него торопливые слова:

Дорогие мои Дети мы живы и здоровы дай бог видеть вас всех 24 отправили Арона остались одне забрали моих детей я незнаю и не могу перенести от меня забрали 3 сына у Красной Армии... где вы дети мои все пусто куда не глянешь мне все надо перенести без детей я жду щастя когда все вернутся на свои места...

...и дальше, и дальше все так же взалхлеб, как и Тема из Ворошиловграда, без перебивок, одним выдохом, одним всхлипом, бог с маленькой буквы, а дети – ценнейшее! – с большой...

...что у вас есть все подробно напиши Сонечка я волнуясь что у вас нет теплой одежды... будьте здоровы целую вас всех мама.

Болеющим за детей старикам всего-то через месяц предстоит выйти из своего дома номер 3 по Васильковскому переулку и отправиться сквозь город, золотой от увядающих листьев, обстукиваемый падающими каштанами, опоясанный орденской лентой реки, облитый мягким солнцем на бархатном подкате знаменитого своего бабьего лета – сквозь сентябрьский, еще картиннее августовского, Киев, мимо вальяжных его фасадов и покойных куполов, протечь в потоке евреев с младенцами на руках, с жалкими пожитками на плечах или под мышкой или на тележке... Старики, дети, повозки, инвалидная коляска, ползущий среди толпы грузовик...

Шли и Б-маны, Хася с Исааком, наверно, поддерживая друг друга, а может быть, теснясь со своими не поспевшими сбежать на холодный Урал домочадцами: Klarой, женой Арона, и их смешливой дочкой Розой. Еще остались где-то спрятаны другие внуки, дети Мули – двухлетний Яшенька и десятилетний Марик, их судьба тревожила Хасю и Исаака, но и здесь было неясно, куда и зачем они идут, покорные немецкому приказу, как и неясно, стоило ли послушаться приказа, – и тоскливо каменело в груди, пока скорбное шествие не уперлось в ворота еврейского кладбища на Дегтяревской улице и просочилось за проволочное ограждение рядом с кладбищенской стеной, под охрану немецких солдат и украинских полицаев, которые направляли людей мимо кладбища в рощу, попутно облегчая их от вещей как от последней связи с жизнью.

Здесь-то, наверно, Хася и Исаак стали благословлять ту минуту, когда их дети очутились в Кувандинке, и радоваться их бездомью и голоданию вдаль от этого ужаса, перехватывающего горло, потому что впереди, за рощей, дорога вела под уклон, там немцы с овчарками и дубинками пропускали сквозь свой коридор людей, избивая, калеча, убивая; взвивался визг, гремели команды, истошно и жалко вопили дети, прорывалось издали какое-то тарактенье, и когда из коридора Хасю и Исаака вынесло на поляну, где полицаи раздевали людей, а потом голых и полуголых гнали поодиночке вверх по склону горы навстречу нарастающему мерному стуку, старики, уже оторванные друг от друга и от невестки Клары с Розочкой, вряд ли что-нибудь соображали на страшном своем бегу, но если бы посреди всеохватного безумия им выдался проблеск здравомыслия, их могло бы озарить утешение, что те уральские горемыки живы, и спрятанные Яша с Марком живы, и сыновья-фронтовики, Бог даст, останутся живы – с этой спасительной мыслью они бы уже очутились на гребне горы, обрывающемся над оврагами, и здесь тот машинно-спокойный стук оказался стрельбой из пулемета, но уже ни о чём некогда думать, потому что и Хася и Исаак рухнули с песчаного обрыва в месиво тел там, внизу, в сияющей под солнцем черноте Бабьего Яра.

Может быть, последним их счастьем было не знать, что Клара и Розочка тоже убиты здесь, и десятилетняя Розочка стала седой в предрасстрельные полчаса, и что сыновья их на фронте уже успели все погибнуть: Муля в далекой Карелии, Боря и Арон рядом на Украине, а счастливо укрывшиеся от Бабьего Яра Марик и Яшенька года не пройдет как будут выданы соседкой немцам и уйдут на расстрел вдогонку бабушке и

дедушке. Оплаканные же дети, бедствующие на Урале, они и их потомки донесут до 1998 года, до Иерусалима письма Хаси и Исаака Б-манов – памятники родительской заботы.

Бориса Яковлевича Фельдмана я знаю только по переписке. Он живет в украинском городе Виннице. Ветеран войны, пенсионер и огородник, не столько от любви к земле, сколько от необходимости чем-то кормиться: огород – средство существования на сегодняшней Украине. А Борису Яковлевичу пенсии его грошовой не хватает, да и не может хватать, поскольку у него есть – Дело.

Дело это: собирание имен погибших евреев и передача их в Яд ва-Шем. Борис Яковлевич заполняет Листы. Чистых Листов не всегда хватает, приходится делать ксерокопии бланков, за что надо платить. Сведения для Листов дают близкие умерших, часто они стары и больны, из дому не выходят, а всех обежать Борису Яковлевичу не под силу, и он обзванивает их по телефону многими часами, оплата разговоров теперь поминутная – выходит тоже накладно. Наконец, Иерусалим для Винницы – не ближний свет, отправлять Листы с оказией трудно, ибо едущим лишний вес в тягость, еврейские же организации, хоть местные, хоть израильские, рвения не проявляют, остается почта, а она опять-таки требует денег. Борис Яковлевич выкручивается с помощью огорода. У него нет выхода. «Это дело меня захватило, - пишет он. – Чувствую себя чем-то обязанным перед павшими... Каждая жертва проходит через мое сердце»...

Бывший офицер, он строго замечает: «Мне никто ничего не написал о недочетах в заполнении Листов. Прошу не считать меня «добровольцем», а предъявлять к моей работе самые строгие замечания. За дело. Жду бланков».

Борис Яковлевич получил искомые замечания: надо бы заполнять Листы рукой не его, а самих воспоминателей, разборчивым почерком, не сокращать слова и т.п. – мелкие, в общем, огрехи. В ответ он написал:

Искренне благодарен Вам за замечания по оформлению Листов. Все будет выполнено и обязательно. Единственное – листки заполняются мной и почему? Надо учесть условия, в которых мы живем.

1. Сейчас тревожное время. Неблагополучно с эпидемиями – грипп и дифтерия. Я имею дело со стариками, которые без молодых в доме никого не пускают. А вечерами вообще посетителей не ждут.

2. С большинством я договариваюсь по телефону, когда и где мы встретимся. Это холлы гостинниц, почта или просто в сквере. Пишем на чем попало и на коленях (на попке) сидя. Некоторые Листы заполняю, договариваясь по телефону, а подписывают их они сами или их дети каждое 4-е воскресенье месяца в 12⁰⁰ в вестибюле гостиницы «Подиля».

3. Приходится иметь дело с людьми старше 75 лет. Больные, лежачие, глухие, незрячие и в одном случае глухонемой. О заполнении ими Листов не может быть и речи – нещадно портят, теряют и забывают, что надо сделать.

4. Поколение, которому сейчас 60 лет, многих погибших не помнит и не знает. Это поколение ничем не интересовалось, ни прошлым, ни будущим – только бы выжить. Из тех, кто кое-что может вспомнить, не все хотят этим заниматься. Потеряна нравственность...

Некоторые люди считают меня человеком, увлеченным глупостью, и задают обидные вопросы: «Что вы с этого имеете? Разве погибшим будет легче, если их имена будут известны? А что мне с этого будет? Лучше бы Израиль нам материально помог». Но встречаюсь и с понимающими людьми. Они мне помогают и радуют. А ваши письма-уведомления адресатам, что имена их близких находятся в Яд ва-Шем, не только помогают моей работе. Они духовно воспитывают наших «затурканных» жизнью людей. Некоторые звонят потом мне и просят передать в Яд ва-Шем благодарность за доброе, говорят, святое дело.

5. Огорчает меня, когда нет бланков Листов. Я вынужден заказывать их и урывать деньги из пенсии. И не всякий берется размножать бланки. Я вынужден был расчертить форму Листа в развернутом виде по горизонтали и вписывать туда всё, что следовало вписать в Лист. Потом, по мере поступления бланков, переносить туда данные. А когда в воскресенье встречаюсь с людьми, они прочитывают свои показания и подписывают Листы. Это – двойной труд. Убедительно прошу выслать мне хотя бы 400-500 бланков. Если учесть, что мне 85-й годок – надо торопиться. Жду бланки.

Борис Фельдман сработал и прислал в Яд ва-Шем 4626 Листов с именами погибших евреев. Сегодня ему 88, а поток Листов, писанных его крупным решительным почерком, не прекращается (так было написано в 1998 г. Б. Фельдман умер в 2005 г. девяноста пяти лет, успев направить в Яд Вашем около 10 тысяч Листов, ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ).

«Хочу искупить свою вину, моя цель – 5000 листов», – написал он как-то. Какая вина, Борис Яковлевич, Бог с Вами! Что выжили? Что вместо Германии

воевали с Японией? Так ведь солдат себе не хозяин. А сегодняшняя Ваша война за мёртвых?

В родной Виннице Б. Фельдмана, случается, подозревают в получении от Израиля денег за работу или в том, что он сведения о мёртвых передаёт в местные органы безопасности – Борис Фельдман продирается сквозь разную чушь. Он взвалил на себя ещё одно дело: через записи на Листах выискивать родственников убитого еврея и сообщать им о его судьбе. Ему говорят «спасибо» – он не успевает порадоваться, он спешит: времени мало – мёртвых много...

Таким, каков он есть, Фельдмана сделала мать, Эстер-Ривка Нафтульевна Фельдман, урожденная Блай. На старой фотографии в её лице и мягкость и сила, глаза Жанны Д'Арк, или декабристских жен, или русских революционерок... Эстер-Ривка не горела на кострах, ни патриотических, ни революционных. Эстер-Ривка была просто санитаркой. И мамой.

Б. Фельдман:

Наша семья жила в Одессе, у моря, и мы, дети, поощряемые отцом и благословением матери, жили морем и стремились к морю.

Отец к 1919 году уже был нетрудоспособен (атрофия глазных нервов). А было ему 48 лет, матери – 39 лет, и на ее руки легла большая семья: дочь Анна и четверо сыновей Анатолий, Давид, Абрам и я, Борис. С нами жила бабушка (мамина мама) и часто была папина сестра. Надо было содержать семью 8 человек. И все это мама. Мы, дети, ей помогали.

Мама была красивая. Смуглая, темноглазая, черноволосая и всегда улыбочивая. Люди к ней льнули, т.к. она никого не обсуждала и всем, чем могла,

помогала. Она свободно читала, писала и разговаривала на идиш, польском и русском языках. Многонациональная Одесса легко воспринимала ее. Украинцы и русские считали ее своей, поляки и греки – своей. Действительно, она была похожа на гречанку.

В Одессе была безработица, жить было трудно. И в 1925 году уехала в Палестину к жениху любимая наша Нюся (Анна). Это был удар. Мать жила ее письмами. Потом пришли фотографии внуков. Мы не скрывали «о сестре за границей» и сами налагали на себя клеймо.

... Брат Анатолий, очень одаренный, уехал из Одессы. Он умер в 1932 году под Ленинградом.

И остальные братья в тридцатые годы разъехались, приобрели профессии, связанные с морем, кто как инженер, кто в военно-морском флоте. Борис служил на Балтике, ходил Ледовитым океаном на Дальний Восток, а к началу войны оказался на Камчатке, окончил войну командиром соединения.

Б. Фельдман:

Дети стремились к самостоятельности, чем наносили страшные удары матери. Она постепенно осталась в Одессе одна, перенесла разлуку с любимой дочерью, смерть мужа в 1931 году, старшего сына в 1932, бабушки в 1940 г., и всегда ждала письма. Мы к ней приезжали, а она, провожая нас, всегда улыбалась и просила Бога быть к нам милостивым. Держала «удары судьбы» стойко.

...Началась осада [немцами] Одессы, и оставаться в квартире стало небезопасно – грабили и проч. ...соседи явно дали понять, что у неё сыновья военные и мало ли что может с ней произойти. Она оставила всё и приютилась в одной польской семье... Неожиданно она обнаружила, что по ночам туда сходятся непонятные люди и делят какое-то имущество, вероятно, награбленное. Она пошла в райвоенкомат, предъявила

документы, что её сыновья служат во флотах. Ей выдали проездные документы и дважды по 500 рублей (за двух сыновей в армии). Тогда это была сумма. Рядом с местом, где она жила, находился интернат испанских детей. Она договорилась с администрацией и с ними ушла морем в эвакуацию.

Б.Я. Фельдман нарисовал карту с маршрутом её эвакуации и обозначил этапы: «1. Одесса-Новороссийск (немец наступал); 2. Новороссийск-Краснодар-станция Лабинская (подошли немецкие войска); 3. Краснодар-Баку-Красноводск-Ташкент; 4.Ташкент-Новосибирск- Владивосток; 5. Владивосток-Петропавловск-на Камчатке (через Цусимский пролив)».

Дорога длиной чуть ли не в пол-экватора. Такой вот круиз. В военное время. Когда любая поездка – риск, а то и подвиг.

Сперва добывалось разрешение (*литер*), потом – билеты. Многочасовое стояние в кассу, толкотня вплоть до затаптывания слабых, иногда драки, а ссоры – непременно... Взятки помогали не всегда, зато всегда грозили обман и грабёж.

Ожидание поезда, пересадка на промежуточных станциях – это очереди, ночёвки на заплёванных полах, на привокзальной земле, с вещами под головой, с постоянной опаской: не обокрали бы... Голод, холод или жара, короста на детских ступнях... Штурм пузатых кипятильников и бачков с питьевой водой. Замечательные были бачки, при них на цепи – чтоб не стянули – жестяная кружка. Очень способствовала та общая кружка заразным болезням. В дополнение к неизбывным дорожным вшам.

При посадке в поезд человеческий вал накатывал на вагоны, люди лезли в окна, толкались чемоданами,

мешками, локтями, плечами, ногами, пробивались, прорывались, ввинчивались в толпу и извергались ею, теряли вещи, разум, детей. Крик, истошный мат, плач...

Наконец, вагон: наконец, приткнуться, отдышаться, отпотеть, а потом сутками, вповалку лёжа или тесно сидя, трястись-качаться голодными, полуживыми. Дурь испарений, полумрак; загаженный тамбур, забитый табачной мутью или дымным ветром от паровоза; вонючая уборная с оторванной, на одной петле повисшей дверью...

На коротких остановках жались к вагону, спрыгнув на землю подышать и размяться, а на больших станциях подхватывались мчаться, гремя чайником, к вокзалу, оттуда из очереди за водой или кипятком высматривали, не дёргает ли паровоз к отправке, или вдали от состава лихорадочно ладили ухо к перонному колоколу: один удар – изготовиться к движению, два – трогаться... И, задыхаясь, обратно к вагонам, ухватить на ходу поручень, вскочить, втиснуться в тамбур... Отстанешь от эшелона – от семьи отстанешь, от ребёнка, от жизни, может быть...

И упаси Бог заболеть, особенно тифом или дизентерией – попутчики запросто выкинут из вагона.

На железных магистралях вздыбленной страны не одна распорошилась судьба.

Водные маршруты вторили наземным, добавляя тревожное отсутствие тверди под ногами и морскую болезнь.

Это всё под безоблачным небом, вдали от боёв. А когда подстёгивала беженцев фронтовая стрельба или настигали немецкие самолёты? Бомбы, пожары, вопли раненных, трупы... Эвакуация – та же война, особенно старикам. А Эстер-Ривке было за шестьдесят. Но мама прорывалась к сыновьям.

Ближе всех был инженер Давид. Его с женой и двумя детьми из блокадного Ленинграда эвакуировали в Ташкент.

Б. Фельдман:

Мама была измотана всеми перипетиями жизни в отрыве от сыновей и многолетней борьбой за выживание. Жизнь в Ташкенте тоже была тяжёлой. Теснота, нужда, боль за сыновей и внуков...

Брат Давид долго болел... Я вызвал его на судовой верфь в Петропавловск-на-Камчатке. С ним поехала ко мне мама.

Во Владивосток и на Камчатку она имела пропуска, т.к. на Тихоокеанском флоте служил я (командиром части) и средний брат (во Владивостоке). Но мать остаться у него, как ранее мы решили, не смогла, т.к. он был предупреждён об отправке на фронт.

Из Владивостока на Камчатку она шла грузовым пароходом... Обычно транспорта шли через пролив Лаперуза (юг Сахалина). Но в феврале он замёрз, и транспорт пошёл в обход, через Цусимский пролив. Там было очень тепло, и мама грелась на солнце. Перегрелась и слегла. Когда подходили к Камчатке, она вышла полюбоваться снежными сопками и застудила правую сторону лица. Видимо, не всё в порядке было с зубами, что и привело к гнойному паротиту.

По прибытии положили её в военно-морской госпиталь в Петропавловске. Дважды её оперировал хирург, в квалификации которого я не сомневался. Ей были созданы самые комфортные по тем временам условия. Но кроме красного стрептоцида медикаментов не было. Её спасти не удалось. Она при мне умирала.

Гарнизон мой стоял в тайге, в глухомани, почти на берегу океана, но похоронили маму на городском кладбище Петропавловска. Оно было запущено и безнадзорно. Выбрали мы самое приметное место – между двух братских

могил: моряков-подводников и морских лётчиков. Но город рос, и кладбище как бы вползало в город. Перестали там хоронить, стали переносить останки в другие места.

Там сейчас живёт моя внучка и двое правнуков... Они бывают на этом месте. Но оно только предположительное.

После войны там был брат Абрам. Привёз немного земли с могилы матери. Она у нас, она и у племянницы Яэли в Израиле.

Я всё полагал, что побываю на месте захоронения мамы. Но теперь мы живём в разных странах. Транспорт туда очень редко идёт. Самолётом невыносимо дорого. А мы стареем. От меня неумолимо уходит время.

...Когда мне приводится быть в Одессе, я всегда прихожу к нашему дому №5 по ул. Маразлиевской, где я прожил с 3-х до 19-летия своей жизни. Иногда захожу в нашу квартиру, похожу по комнатам (пока пускают).

Утекает жизнь, память остаётся. Должна оставаться.

Ирина Р-ва (Ленинград, из письма о пропавшем в войну отце):

Много лет... он мне снился по ночам. Я его хорошо помню: он был очень весёлым, общительным, красивым.

К сожалению, ни моей дочери, ни даже горячо любимому внуку я не могу о нём рассказать: дочери не интересно, а внук маленький.

«Зажгите свечку за меня».

Внук, слава Богу, ещё подрастёт, дочь, состарившись, авось, поумнеет.

Зажгите свечку...

ПОСВЯЩЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
ИЛИ
БОЙ

**Еврею –бойцу,
неизвестному и неизвестному**

Жизнь и смерть Владимира Соболева нарисовали мне в своих письмах жители украинской Винницы Б. Я. Фельдман, Ф. Р. Сапожникова, С.Ш. Орингель, а особенно подробно брат В. Соболева, Роман Михайлович. Вот сводная справка, короткая, как володины 19 лет.

Винничанин. Мать – машинистка, отец с 1937 года «враг народа», сослан на 25 лет в Норильск, но Володя – активный комсомолец, спортсмен, видимо, самозабвенный советский патриот – дитя времени. К началу войны – курсант Подольского артиллерийского училища, со славой дравшегося под Москвой.

Володю с оторванной в бою правой кистью бесчувственного захватили немцы. На марше колонны пленных, когда отстающих добивал конвой, у Соболева началась гангрена. Немец-конвоир, недоучившийся ветеринар, то ли на спор испытывая русскую терпеливость, то ли из сочувствия красавцу-парню, на привале привязал Володю к дереву и ножовкой отпилил руку выше локтя. Без наркоза. Володя бился головой о дерево, пока не потерял сознание. Очнулся седым в 18 лет.

Пленных пригнали в лагерь под Киевом. Оттуда Соболев с группой красноармейцев бежал с помощью двух антифашистов из охраны (один – тот, что резал руку). В ночь на Новый 1942 год Володя, голодный и

больной от воспалившейся культы, объявился в Виннице, у друзей-украинцев Куленко. Наутро в горячке и бреде отвезен в больницу, знакомый хирург отнял руку до ключицы.

Едва поправившись, Володя вступил в подпольную организацию. Тренировался в лесу стрелять левой рукой – выучился, сшибал птицу на лету. В феврале 1943 года застрелил офицера СС, заместителя коменданта города. Скрылся. Выдан предателем, погиб в гестапо.

«Евреи – трусы», – объявил древнегреческий юдофоб Аполлоний Молон, объявил лихо, против устоявшейся в те времена славы евреев-воинов. Философ, учитель Сенеки и Цицерона, он пояснил: «В бою евреи подменяют храбрость безумной и дерзкой отвагой». Не слишком вразумительно, тем не менее, хоть и не сразу, но мир впечатлился. На два тысячелетия. На еврейском вороту любая брань виснет.

В 1945 году вернулся с войны мой дядя, скромный майор в чугунных солдатских сапогах, голенища торчком. Победители тащили трофеи: кто часики, кто автомобиль. Дядя после четырёх лет фронтовой медицинской службы привёз только шахматы, да не немецкие – от своего, самоделка. В каком-то госпитале дядя занимался трудотерапией, доктор он был от Бога, раненных выволакивал с того света, и один из них вырезал своему спасителю подарок, изумительной тонкости фигурки: стройные ладьи, кони весёлые, короли и ферзи в деревянном кружеве – отделал доску-коробку и по краям её, разнежась, вывел печатными, одна в одну, буквами чувствительные благодарственные слова «военврачу 2 ранга Галилею Лазаревичу Бранденбургскому».

– Смотри-ка, – умилился я, – как постарался русский человек, грамотно выписал мудрёную фамилию, даже имя, для русского уха чудное. С евреями рядом воевал, евреем-врачом спасён, уж этот не скажет, будто евреи окопались в тылу.

Я, одиннадцатилетний, подобное слышал и в школе, и на улице и был обижен не столько даже как еврей, сколько как пионер-интернационалист.

Дядя усмехнулся: – У меня тут ещё один сувенир того же мастера.

Он достал круглую деревянную медаль, подобие фронтовых наград «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина»; на ней было с одной стороны: «Жиду», с другой по кругу: «За взятие Ташкента».

– Одновременно, – сказал дядя. – Шахматы мне, а медаль по госпиталю гуляла, раненные смеялись...

В войну евреи отсиживались в Ташкенте – такое устоялось народное мнение, его, огорчась, формулировал поэт-еврей Б. Слуцкий, тоже фронтовик: «Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе». Жид, известно, вояка-срака: ружьё с гнутым дулом – из-за угла стрелять. Евреи и сами-то с насмешечкой: «Идише казак» («еврейский казак»). Себя сечь – особая еврейская сладость.

А 13 марта 1943 года жене Г. Гольдрера из Кубанского гвардейского кавалерийского корпуса пришло **извещение номер 98/3**: «Ваш муж, гвардии казачьих войск старшина Гольдрер Григорий Бениаминович, рождения 1907 года, в бою... проявив геройство... убит 10 февраля 1943 года». Идише казак... До войны экономист – тишайшая профессия, «галутное занятие» – брезгливой шлёпнет губой гордый израильтянин.

Знаменитейший политик Израиля, строитель страны и армии, солдат нескольких войн, человек из немногих любимых народом прижизненно, бросил: «Евреи на русском фронте? Знаем! «Вперёд, в атаку!», а сзади солдат с автоматом»... Оторваться бы ему на часок от государственных забот, заехать (лучше зайти, и не по службе) в Яд ва-Шем, поглядеть в Листы:

Коган Абрам, «невоеннообязанный, инвалид по зрению пошёл добровольцем. Погиб в дек. 1942 г. под Ленинградом».

Шапиро Соломон, 1925 г. рождения, из Иркутска, холост, младший лейтенант, убит в Польше 13 августа 1944 г. Лист на него прислан из Ангарска (Россия), заполнен ровным уверенным почерком, чётко, кратко, по-сибирски без суесловия, лишь наверху приписано: «Герой Советского союза – посмертно». Ну, и хватит для девятнадцати-то лет.

Матусевич Семён, партизан Белоруссии, в 1943 г. «взорвал мост и себя».

Врач-фтизиатр Александр Иосилевич – тоже сын галута, человек мирный, мягкий до нежности. Лет десять назад сам попал в московскую больницу, нянечка восторгалась: «Золотой больной, никогда не жалится, всем помогает, улыбается»... Я с удовольствием поддакивал. Российская бабуля пугливо повела по сторонам выцветшим васильковым глазом – не услышал бы кто про хорошего человека стыдного слова! – и полушёпотом доверила мне: «Он знаешь кто? Яврей! Ей-Богу!».

Когда-то окружающим тоже не следовало знать об еврействе Александра Моисеевича. В немецких концентрационных лагерях Штутгоф и Маутхаузен военнопленный врач Иосилевич, став украинцем Григоревским, годами играл в смертельную рулетку

подполья: в лазарете во главе группы медиков укрывал от смерти лагерников (втроём вызволили больше двухсот человек), прятал ворованное у немцев оружие для восстания узников, сам в том восстании участвовал... Такой тихий доктор из Харькова, а сегодня из Бер-Шевы – он и здесь малозаметен.

Зато Александр Печерский – удал. Заводила из художественной самодеятельности, народ по клубам собственной музыкой веселил, «массовик-затейник» называлось или иначе «культработник». Из Ростова-на Дону (опять к казачеству близко, но я не нарочно, честное слово). Два с половиной года войны его мотало по лагерям военнопленных. Пережил тиф. Бежал раз десять.

– У нас одежда была своя, не полосатая, поэтому меня ловили не как беглеца, а вроде в первый раз, и не били, просто в новый лагерь кидали, – объяснял мне Печерский спустя сорок лет.

– Как вы выжили? – спросил я его.

– Ворвал, – весело сверкнул чёрным глазом грузный, плохо слышащий диабетик. – Крал еду. И ещё: всегда шёл на физическую работу, чтобы быть в форме, и кормят лучше.

Мы разговаривали у него дома, посреди города Ростова, заставленного будёнными какими-то памятниками, облепленного геройскими именами на уличных табличках, а Печерского тогда знали от силы несколько школ, где его допускали выступить перед учениками. За границей, правда, у него слава сложилась, даже фильм соорудили, но чересчур художественный, по голливудским меркам, – Печерский морщился брезгливо: – Я там главный герой, во-о-от такой огромный герой. Я вскакиваю на стол, что ли, кричу вроде «К оружию!» или «На

штурм!», и все бросаются на немцев. Красиво!.. Бегут красиво, падают красиво, особенно ээсовцы, и мы побеждаем. Ну, вы представляете, какие там лозунги под стволами пулемётов! Ничего этого не было... Договорились заранее, и каждый своё делал. Что-то, конечно, напуталось, не туда бежали, суматоха – нормально, жизнь не кино... И убили-то всего двух ээсовских офицеров.

Мы сидели за столом, щедро накрытым: дефицитная копчёная колбаса, печенье нездешнее, апельсины – хозяйка уговаривает не стесняться, всё свежее, только-только получили «заказ», положено как ветеранам войны, каждый месяц по два кило мяса, чай, масло, сыр... «Вполне достаточно, – это Печерский говорит, а жена его мягко уточняет: – Ну, как достаточно? Есть ещё дочка с семьёй, надо им подбросить. Но в общем, ничего, хорошо»...

На стене картина в рамке, старательно сделано: синева неба – так синяя, желтизна пустыни – так жёлтая, тигр полосат и рыж, никаких полутонов, переходов – честное рисование. Под тигром, привалясь к пухлой спинке старомодного дивана, хозяин продолжает рассказывать о восстании в лагере смерти Собибор.

– Всё связывается со мной, я и вправду командовал тогда, но главная заслуга не моя, одного из Польши, Леон Фельдгандлер его звали, он руководил подпольем и всё организовал, я почти на готовое пришёл... А что восстание получилось, так благодаря чему? Благодаря ээсовской жадности и точности. Дармовой мундир от хорошего портного хотелось получить, и шли на примерку точно по часам, тут их и убивали.

Скромничает Александр Печерский. Жизнь лагерников коротка, не поспевал подпольный комитет

сплотить в боевую единицу бессильно-штатских портных и парикмахеров. Запалом мятежа попала в лагерь группа советских военнопленных, умелобоевых, среди них отчаянный «Сашко-ростовчанин» – дело и завертелось. Всего через три недели после прибытия русских в лагерь Печерский поднял шестьсот смертников на почти безнадежный бой, голыми руками против пулемётов и колючей проволоки, и шестьдесят прорвались к жизни, и лагерь-убийца сдох навсегда, и было это не в победном сорок пятом году, когда на подходе гремели выручающие танки союзных армий, а в глухой глубине войны, в октябре сорок третьего, подмоги не докричатся, да и кому нужны бежавшие евреи? Фельдгандлера, например, после побега убили поляки...

– Мы, советские, человек десять, добрались до нашего партизанского соединения. Командир отряда, поляк, нас прогнал: «Мне в отряде евреев не надо». Я ребят в другие отряды пристроил, а сам к этому поляку вернулся – у меня характер такой... И чтобы видели, как евреи воюют, я пошёл в диверсионную группу, два эшелона подорвал. Когда с армией советской соединились, нас, бывших пленных офицеров, отделили, месяца два проверяли, кого в *штрафбат* [штрафной батальон], кого в штурмовые части, до первой крови. Меня в первом же бою ранило тяжело, и тогда мне звание вернули, старший лейтенант. В госпиталях войну и закончил. Офицером, и не посадили – повезло, в общем. В госпитале под Москвой, в Раменском, я ещё сестричку прихватил, вот уж сорок лет мучаюсь, – кивает он в сторону жены, оба согласно посмеиваются.

Тигр со стены пялит бешеный глаз, вот-вот прыгнет, полосы на шкуре накалились... Под обвалом

его африканской ярости сидит Александр Печерский, благодушный, всем довольный. На ехидный вопрос о наградах отвечает: – Боевых наград не имею. Выжил – какая ещё награда?

В 1952 году, в «докторские годы», когда арестом кремлёвских врачей начинал Сталин общесоюзный еврейский погром, Печерского как еврея и бывшего пленного «лишили доверия»: исключили из коммунистической партии и выгнали с работы. До смерти Сталина он бедствовал, в ожидании ареста умирал нервы собственной трудотерапией: по сетке металлической, которую покрыл олифой, намалевал вот этого тигра ядовитого да соткал из тряпочных обрезков ковёр по собственному узору. Пенелопа... Нервы Печерский уберёг, хотя без следов не обошлось: позднее в Москве я показывал ему памятник мальчикам-ополченцам во дворе арбатской школы и перед истончёнными предсмертьем фигурками, перед птичьими головками в пилотках, перед шинелями не по росту и штыками, колющими небо, – заплакал собиборский победитель.

...Дни свои он доживал, по его мнению, почётно, даже три года был депутатом районного совета. Пенсию ему положили грошовую, 60 рублей в месяц, только после вмешательства какого-то энтузиаста из другого города местные власти расщедрились: «за патриотическую и общественную работу» накинули до ста рублей при тогдашней средней зарплате по стране примерно 230, Печерский и рад.

Жена его тоже жаловаться не умела. Однажды нагрянули американцы-журналисты, подивились тесноте геройского жилья: всего-то две комнаты – а она им: «Что вы, две комнаты на двоих очень даже много». И мне потом со смехом: - Если б они знали, что тут в квартире ещё и соседи... Где американцам

понять, что такое коммунальная квартира! Хотя соседи у нас хорошие. Идишкинд, - понятно для меня, еврея, добавила русская женщина Ольга Ивановна Печерская.

Неугомонный Печерский в лагерях завёл дневник, зашифрованный. Сберег записи при побеге, в партизанах, армии, после в госпитале расшифровал, в 1945-м был с ними в Москве у Михозлса, Эренбурга, Каверина... Написал книжку о собиборском восстании, её – несколько десятков страниц – очень нехотя издали в провинциальном издательстве, ничтожным тиражом, и убрав слово «еврей», и только под давлением вмешавшегося П. Антокольского. Евреи-бойцы, да ещё и военнопленные – не приходились ко двору победившей Отчизне.

Помер Сталин, потеплело, в 1964 году храброе молодёжное издательство выпустило новую книгу о Собиборе, вымарав из рукописи отчество Печерского: Александр Аронович стал просто Сашко. Советского читателя попрежнему опасались ошеломлять героем-евреем. По тогдашним условиям Печерский мог бы считать себя даже обласканным: освободили от позорящей национальности.

Примерно то же с Володей Соболевым. В книге, где он в главных героях (1963 год, Украина), его маму Анну Исаковну переименовали в Анну Ивановну – облагородили героя. Соболеву Родина на орден не раскошелилась – медаль отмерила «За отвагу»; посмертно, в 1964 году. а на школу, где он учился, мемориальную доску повесили. («Орден не дождалась она, сразу памятники получают»,- писал Борис Слуцкий).

А Михаилу Гебелеву, создателю подполья Минского гетто, Гебелеву по кличке «Бесстрашный Герман», растерзанному в гестапо, – ему ни

памятника, ни доски-надписи, ни хвалы сколько-нибудь громкой.

...Бой. Свирепый, рукопашный... Дыбом земля – взрывы. Корчи фашиста на красноармейском штыке... Трупы... Немецкие, конечно. А русские в атаке, в порыве неудержимом, победном. Впереди – герой: лоб перевязан, кровь на бинте, в одной руке пистолет, в другой граната, в глазах святая свирепость, он по-сибирски скуласт, по-татарски узкоглаз, через плечо на отлёте – командирская планшетка, в ней газета, название крупно: «ПРАВДА».

Это война на картинке, на почтовой открытке, такими советская пропаганда подстёгивала своих солдат. Открытка подписана «Подвиг политрука Мандрусова», она приложена к Листу на Мандрусова Айзика Нахимовича, еврея из украинских Прилук. Кто бы подумал?.. На открытке под рисунком при фамилии овосточенной (*a* вместо *o*) даже инициалов не написано.

* * *

В сентябре 1943 года германскому министру пропаганды Геббельсу его подчинённые из Кенигсберга сообщили: «16 августа 1943 года началась операция по очищению Белостокского гетто, где содержались ещё 30000 евреев... В ночь на 17 августа вспыхнули первые пожары, разожжённые евреями... Около пяти тысяч евреев прятались и оказывали значительное сопротивление. ... В ходе операции вооружённые евреи неоднократно пытались прорваться сквозь оцепление гетто и бежать. За исключением отдельных случаев эти попытки

пресекались... У взбунтовавшихся евреев было много еды, оружия»...

Этот документ опубликовали «Новости Яд ва-Шем» (31.12.1963) с примечанием: против евреев воевало примерно 130 полицейских. Фридель, гестаповец, ведавший жизнью и смертью Белостокского гетто, на послевоенном суде в Белостоке показал: «Эвакуация гетто не прошла спокойно... определённое число полицейских и немецких офицеров заплатили жизнью». Слова Фриделя и ещё одно подобное свидетельство привёл в книге «Движение Сопротивления в Белостокском гетто» (Варшава, 1952 г.) историк Бернард (Берл) Марк. На странице 228 он указал число еврейских бойцов Сопротивления – 200. Цифру Б. Марку назвала Броня Винницкая, она же в подполье Ядвига Шкибель, она же после войны Броня Клибанская (Б. К.).

Б. К. – одна из создателей Яд ва-Шем'а. Сорок лет работы в Мемориале, множество дел и, наверно, главное – издание материалов Мордехая Тененбаума-Тамарова, руководителя восстания в гетто Белостока. Среди тех текстов: «Братья евреи!.. Мы перед лицом смерти!.. Не идите, как овцы на бойню!.. Встречайте палачей зубами и ногтями, ножом и топором... Умрём, борясь, как герои, и после смерти - мы будем жить! Нам нечего терять кроме своей чести!».

Б. К. (из интервью):

Мордхай написал эту листовку примерно 13 января сорок третьего года. Её распространяли в гетто в августе, в день, когда немцы начали окончательную ликвидацию евреев Белостока. «Не идите как овцы на бойню» – это ведь не историки потом придумали, это вправду было написано, и ещё раньше на год, ещё в Варшаве, и именно Мордхаем, хотя есть кто говорит другое.

История и мифы. Мордехай Анелевич, руководитель бойцов Варшавского гетто, уж на что легенда, но и он после войны "дегероизировался" кое-кем из бывших соратников: ничем особенным, мол, не отличался, просто он очень рвался быть командиром, вот его и выбрали.

Б. К. Чуть! Разве выбирают кого-то только потому, что он сам хочет?.. Я лично Анелевича не знала, но считаю, что он был очень мужественным молодым человеком. Руководить могли только люди со знаниями и с силой, покоряющие...

Те, которые остались в живых, они, конечно, себя несут и образовали какой-то культ вокруг себя. Может быть, и правильный культ, но это ещё не основание оттолкнуть тех, кто умер. Конечно, всегда имеет место соперничество... Может быть, и тогда было, когда создавали еврейское Сопротивление в Польше: то, что Мордахая, варшавянина, послали в Белосток, то, что до этого он ушёл из Вильнюса... Он ведь очень выделялся от остальных. В Варшаве в тридцать восьмом году он в секретариате сионистской организации "Дрор" был самый молодой, двадцать два года только. Талантливый, эрудированный в философии, истории, литературе – такое самообразование. Писал яркие статьи. И делал очень много, готовил еврейскую молодёжь для Палестины: организовывал сельскохозяйственные школы-кибуцы, курсы иврита, военную подготовку... С 1936 года он учил востоковедение на Варшавском университете, знал немного турецкий и потом воспользовался во время оккупации: сделал себе документ, что он караим Юсуф Тамаров. И хотя был похож на еврея, но всё время разъезжал в поездах, ходил по улицам и вообще без страха - он был очень-очень бодрый... Ездил, работал по разным гетто: Ченстохова,

Краков, Бендзин, Вильно, Гродно, Белосток – везде он оставил свои следы. В Варшаве он один из создателей Антифашистского блока, и Еврейской Боевой Организации, соредатор подпольного журнала «Дер Руф» («Призыв»), издания «Дрор» ни разу не вышли без его статьи.

Тененбаум крупнее наших всех как организатор, как личность, как этичный – так говорят по-русски? —очень нравственный человек. Я думаю, равного ему вообще не было. В 1939 году перед капитуляцией Польши он оказался в Вильнюсе, чтобы содействовать выезду в Палестину сионистской молодёжи и тех активистов из Палестины, которые там работали. Разрешений на выезд было ничтожно мало. Мордхай обеспечивал товарищей поддельными документами, а сам остался. И потом, в Белостоке он тоже мог сохраниться живой, но он считал, что должен – это звучит немножко патетично – должен быть с народом. Он руководитель восстания, и все гибнут, а он вдруг останется живой – это для него неприемлемо.

Центр Иерусалима, квартира посреди тихой Рехавии, журнальный столик, обратившийся в чайный, фарфор, аромат, комфорт... Б. К., я и магнитофон.

Б. К. Моя семья была не богатая, но и не бедная. Отец-коммерсант, мать до замужества – актриса. Она из очень интеллигентной семьи, культура *идиш*... А папа... Совсем не интеллектуал. Так случилось... Но очень симпатичный. В семье было три девочки (я старшая) и брат.

Один год меня учили в еврейской школе, чтобы я знала идиш; я очень за это благодарна маме. Потом, в семь лет, польская женская школа. По дороге в школу я утром проходила мимо дома, где в подвале держали арестованных и делали пытки, я слышала крики, мы знали, что мучают коммунистов. На меня это влияло...

Потом я училась в еврейской гимназии первой категории, из неё можно было попасть в университет. Директор обязан быть еврей, но крещёный. Атмосфера в гимназии была свободная. Лучшие учителя были коммунисты. Одна моя подруга была в комсомоле. И одна моя тётя, я её очень любила, сидела за коммунизм. После тюрьмы она рассказывала, что они там делают. Для меня была такая романтика! Я с подругами пела революционные песни. Я хорошо убежала со школы на демонстрацию пела, я училась петь, играть... Помню, мне было 12 лет, я с двумя подругами убежала со школы на демонстрацию запрещенную, её разогнали, но мы были ужасно довольны, что участвовали. Вот в какой атмосфере я воспитывалась.

После погрома в Гродно ещё до войны я решила ехать в Палестину. Надо было готовиться к этому в какой-нибудь молодёжной организации. «А-шомер а-цаир» [левые сионисты] мне не нравилась, потому что туда не принимали простых рабочих, а только учащихся, особенно охотно гимназистов, но я выбрала «Дрор», где брали всех. Там читали Маркса, Ленина, вели дискуссии – Боже мой! – до двенадцати ночи по философии, Гегель... О, что я тогда знала, я сегодня не знаю! Газеты обсуждали... До сегодняшнего дня не могу прожить без газеты.

С таким багажом я попала в гетто.

В Гродно – два гетто, два острова, отъединённых от *арийской стороны* – польской части города. Гетто как гетто: жёлтая нашивка, бесправие, безвыходность, нужда. Труд в надежде выжить. Кому мнилось, что из десятков тысяч обитателей гетто переживут войну – сто восемьдесят?

Б.К. Я жила с семьёй во втором гетто. Я часто уходила на арийскую сторону. Я с первого дня не соглашалась, что кто-то может меня ограничить в

движении. Я снимала жёлтые латы с одежды и выходила. Никогда не думала, что меня поймают. И действительно так. У меня был друг в первом гетто и тёти – я там ходила. Для спорта: вот запрещено, а я хожу. И частично, чтобы там менять у поляков какие-то вещи на продукты. А друга моего убили [спокойно добавила, привычно].

Мальчикам было труднее, чем девушкам: на мужчин больше охотились и можно проверить, еврей или не еврей. Поэтому большинство связанных стали девушки...

В гетто мы, молодёжь «Дрора» и «А-шомер а-цаир», как-то инстинктивно сжались. Первая реакция была: делать всё, что немцы не разрешают. Решили организовать какие-то курсы, школы. Нельзя? А мы будем! Нельзя выходить – значит, надо выходить... Нас было очень мало, десятка два. Потом приехали евреи из провинции, стало нас больше.

В гетто был сад, мы достали работу его охранять, чтобы не порубили деревья на дрова. По очереди ночами дежурили, так что получилось место, где мы собирались, обменивались идеями, шли разные дискуссии. Нашей группой никто не командовал, но были кто-то более активные, ведущие. Просто дружеская компания...

А в январе сорок второго попал к нам из Вильнюса Мордахай Тененбаум. Для нас это было: вот, еврей, он себе едет поездом – значит, можно всё делать, не надо бояться... Нас это очень подбодрило.

Тененбаум рассказал про Вильнюс, про расстрелы в Понарах, там уже убили почти пятьдесят тысяч евреев. У нас ведь и мысли не было об общем уничтожении евреев. Мы раньше только видели, как возили на тележках мёртвых советских военнопленных, их лагерь был недалеко за городом; держали их на поле, зима была очень крепкая, масса трупов...

Мордахай сказал, что немцы лгут, будто они вывозят из Вильно евреев в наказание за их сотрудничество с советской властью, что, наверно, есть план вообще убивать евреев. Надо не верить немцам, готовиться бежать, организоваться... И в таком духе мы уже потом думали...

А он уехал в Белосток. Там было ещё спокойно, и Мордахай решил кого можно привезти туда и организовать сопротивление. Еврейское подполье в Белостоке зародилось от коммунистов, «А-шомер а-цаир» и кибуца группы «Дрор». Мордахай потом отправил туда примерно двадцать членов «Дрор» из Вильнюса. Вёз их немецкий унтерофицер Шмиат, сопровождала подруга Тененбаума Тэма Шнейдерман.

В феврале Мордахай организовал в Белостоке встречу активистов «Дрор» из всего белостоцкого округа. Всё происходило очень быстро, тогда счёт времени был другой...

Одна связная из Гродно, наверно, по распоряжению Мордахая предложила мне поехать на эту встречу.

Это была моя первая проба ехать поездом, без документов. Билет без документов не продают. Я на вокзале подошла к какому-то немцу-офицеру и попросила купить мне билет. И он купил [в её голосе удивление], и мы поехали [смеётся]. Не с немцем, он вообще не ехал, он там ждал не знаю что.

Мы поехали с этой связной, как будто мы не знакомы, сидели отдельно, но друг у друга на виду. Проверок не было, поездка прошла хорошо. Я в Белостоке оказалась в первый раз, город не знала. Связная меня повела на место, где работали девушки из гетто. Мы должны были войти в гетто с этими девушками, когда они под немецкой охраной будут вечером возвращаться с работы. Было утро, мне как-то не понравилось: целый день сидеть и ждать? Я попросила, чтобы мне объяснили дорогу, потому что не могу же я спрашивать

у прохожих, где гетто? [Хочет]. Они удивились: а как ты войдѣшь? Я не знала, говорю: уже войду.

Я пошла, и когда вошла в улочку возле ворот гетто, сразу надела жѣлтую лату – мои латы легко надевались и снимались – и быстро начала бежать к охраннику и очень скоро говорю ему, что я утром ушла на работу к немцу и забыла кое-что из белья, которое я стирала для него, и пусть часовой мне разрешит войти, я сразу вернусь. Он смотрит недоверчиво, а я тороплюсь, задыхаюсь – нарочно, конечно, я же бегала недолго. И он мне разрешает войти и говорит, что будет ждать, чтобы видеть, как я выйду. Ну, он не дождался...

Я вышла только дней через десять... Выйти из гетто даже легче, чем войти. Рано утром выходят на работу группы до ста человек, к ним легко присоединиться. Конечно, потом, на другой стороне, надо снять латы и чтоб никто не заметил. А группу охраняют немцы... Но когда надо, тогда всё... как-то выходит... да... Я много раз так делала, и никогда меня не поймали. Факт. Как видите...

Верно, вижу: живая. Радушная хозяйка, сотворившая пахучее чаепитие и гармонию разноцветных слоев печенья на хрупких тарелочках. Уютно. Мебель, занавеси, книги, картины – во всём достоинство сдержанности. И голос её, тёплый, ровный, со всплесками давнего серебра, завораживает: она говорит по-русски с осторожностью, обычной при редком употреблении языка, но акцент и все оговорки, неправильности, вкрапления польских и ивритских слов – только украшения её речи, янтарные брызги...

Б.К. В конце марта опять собрали в Белостоке семинар, чтобы готовить Сопротивление. И я опять приехала из Гродно и осталась в Белостоке среди

молодёжи, чтобы их вовлечь в нелегальную организацию.

У меня дома это всё была тайна. Я даже не имела права попрощаться. Ну, и молодая была, дура... Мать привыкла, что я исчезаю к приятелю, к тётям в другом гетто, но всегда прихожу. Она никогда не провожала. А в этот раз она меня провожала из дома, как будто чувствовала, что больше меня не увидит, я сейчас вижу её глаза, я с ней даже не расцеловалась, как будто... [слова, замедляясь, падают врозь, тяжело] ненадолго... Я ведь сама... не знала, что не вернусь... думала: приеду потом...

Позже в Гродно приезжали из Белостоцкого гетто, они и сообщили маме, где я. А в ноябре сорок второго ликвидировали второе гетто в Гродно, в ноябре и мама...

Грозно набухает пауза... Ищу, как убежать от глаз её мамы... Б.К. справляется быстрее меня.

Б. К. В Белостоке задача нашей молодёжи сначала была: взаимопомощь, поддержка духа и культурная работа среди других. Мыслили, как перед войной: организовать. Но уже как-то задумывались о борьбе. Начали строить большой схрон [убежище].

Это бункер на Хмельной семь. Деревянный домик, во дворе колодец, воды немного, и ход в бункер внутри дома, а запасной выход в колодце над уровнем воды. Обеспечивались и источник воды, и воздух – все проблемы решались. Командовали строительством двое товарищей, главный Сролик Марголис, второй Цви Мерсик.

Бункер был большой секрет от всех. Строили только ночью, копали мужчины. Проблема была с выкопанной землёй. Я помогала, выносила песок, разбрасывала так, чтобы никто не заметил. Приносила ребятам еду, питье.

Я была одна из немногих девушек, которые знали о бункере.

В конце лета я пошла на фабрику. Там шили мундиры для германской армии. Я пришивала пуговицы. Специалистка [хохочет] по пришиванию пуговиц. Мы старались пришить так, чтобы они держались не слишком крепко. Немножко хотя бы напакостить.

В ноябре приехал Мордхай. Его послали от варшавского подполья организовать сопротивление в Белостоке. А тогда немцы начали уничтожение всех гетто по белостокскому округу кроме самого Белостока и оцепили наше гетто, чтобы туда никто не мог пробраться, и Мордхай не мог.

Он поехал в Гродно, где шла ликвидация, но первое гетто ещё сохранялось. По дороге немцы схватили его, он бежал, его ранили в ногу, но он как-то пробрался в деревню возле Гродно. Оттуда он передал гродненским, чтобы ему помогли войти в гетто. Из гетто ездили в деревню за продуктами на фурманках [подводах], и они забрали его к себе в гетто, подлечили, и он тогда же поехал в Белосток и больше его не покидал.

С его приездом пошло на то, что вся деятельность должна направляться на Сопротивление и надо иметь оружие. Он представил программу, что делать. Всё набрало скорость.

Готовя эту запись, я переслушал шесть кассет, наговоренных Б.К., перевёл её голос в текст, восемьдесят страниц. Пересчитал: несмотря на все мои подталкивания, о себе она говорит лишь треть времени, 27 страниц. Тененбаум, к которому постоянно отворачивает её монолог, занимает 23 страницы, почти столько же, сколько она сама.

Хайка Гроссман, воевавшая бок-о-бок с Тененбаумом в Белостоке (из книги «Люди подполья», Израиль, 1965 год):

Мордехай разбивал все преграды. Он был одновременно наивен и умён. ... В своей лихорадочной деятельности, ведомый сознанием, что время сжимается, что катастрофа всё ближе, в отчаянии от виденного им в Вильно, Гродно и Варшаве, он иногда становился тираном, навязывающим свою волю окружающим... Когда он добивался успеха в привлечении к себе соратников, он мог быть весь улыбка и доброта... Но когда он сталкивался с членами своей партии, которые самодовольно верили, что дьявол их не тронет, Мордехай давал волю потоку своей ярости. Мы любили его со всеми его слабостями и его храбростью, его доверием к людям, которые того не заслуживали, его бурным характером и острым умом.

Когда Мордехай приехал к нам, связь между нашими движениями [«Дрор» и «А-шомер а-цаир»] превратилась в военное и идеологическое сотрудничество и мы начали пытаться создать общую для всех военную организацию.

Тут мы натолкнулись на стену. Коммунисты отвергали любую попытку к объединению. Они считали, что те, кто был противником Советского Союза, не могут эффективно бороться против фашизма.

Б.К. Коммунисты ещё в 1941 году создали в гетто Антифашистский комитет, но он почти сразу провалился.

До приезда Мордехая подполье сделало очень мало. Потому что в Белостоцком гетто условия жизни были лучше, чем в других местах. Сознание вооружённой борьбы ещё не созрело. Только после ликвидации окрестных гетто в ноябре как будто красная лампочка зажглась: увидели, что это приближается к нам. У нас

появился еврей-беглец из Трeблинки, и мы узнали, что там всех убивают. И вот уже уничтожение, а у нас только переговоры. Шомровцы [члены «А-шoмер а-цаир»] и коммунисты создали один блок, другой блок был "Дрор" с тем же "А-шoмер", который лавировал между тем и этим...

Коммунисты не хотели союза с "Дрор". Почему? Они не имели к Мордахoу доверия из-за его связи с Барашем, сионистским деятелем, который управлял в Белостоке Юденратом. Коммунисты считали Бараша врагом.

У Бараша была концепция, что работай, будь полезный для немцев и будешь жить. Это мысль немецкая: арбайт махт фрай [труд делает свободным]. А евреи... Хотя они столько веков жили под гнeтом, не было такого опыта, который бы их насторожил. Знали, что всегда можно как-то выжить: давать взятки, откупиться чем-то... Ведь ни у кого во все века не было программы физически уничтожить всех евреев. Тот опыт совсем не подходил к новым условиям, в которых евреи нашлись. Главы Юденратов – и Бараш, и Генс в Вильно, даже Черняков в Варшаве, – они не понимали ситуацию, они были слишком мелкие...

Бараш организовал фабрики, работали для немецкой армии. Он верил, что эти интересы будут иметь для немцев большое влияние. Приезжали комиссии, даже из Берлина, смотрели эти фабрики; Бараш и выставку сделал на арийской стороне, чтобы показать, как гетто способствует военным усилиям Германии.

Получилось как будто правда: в ноябре сорок второго немцы ликвидировали окрестные гетто, а Белосток не тронули. Гетто было убавокано: «Мы остались, потому что мы работали». А я считаю, просто Трeблинка не могла двести-триста тысяч евреев со всего округа перемолотить, не справлялась. Там иногда ждали в вагонах...

Люди, если они вступили на дорогу сотрудничества с немцами, то они уже попали в пулапку [ловушку]. Бараш вначале содействовал Сопротивлению, после приезда Тененбаума. У Мордхая был уже огромный опыт: депортация [вывоз на уничтожение] евреев Вильноса, Гродно, Краковского гетто, Варшавского гетто. Во многих геттах он имел счастье быть как раз во время акций. И у него имелись очень точные сведения о Трешлинке и других местах, и он эти сведения передал Барашу. Потом он очень сильная фигура, и он повлиял на Бараша.

Бараш – сионист, он встречался на собраниях с сионистами из Сопротивления, он хотел держать связь и знать, что делается в гетто, он даже дал Мордхаю деньги для передачи варшавскому подполью. Но всё кончилось после первой акции [в феврале 1942 года немцы вывезли и уничтожили больше 10 тысяч евреев белостокского гетто]. У немцев были в гетто свои шпионы, и Бараш это знал. Немцы, наверно, имели сведения о поведении Бараша, и они хотели посадить вместо него своего человека, еврейского гестаповца. Бараш оказался умней, он сумел того скомпрометировать, что он брал взятки, и немцы его расстреляли.

После первой акции Тененбаум предложил Барашу минировать вход в гетто, чтобы немцы не могли войти, а Бараш ему говорит: «Знаешь, успеем. У меня между немцами такие хорошие приятели, они меня предупредят, если что»... Это были немецкие хозяева фабрик в гетто, они зарабатывали на рабочей силе евреев бешеные деньги и хотели сохранить свой бизнес. И ещё Бараш держал их взятками. И он им верил.

У евреев такое до сегодняшнего дня. Будто всё, чего нехватает евреям – это есть у немцев: порядок, честность... Наивность, понимаете, какая-то, что немцы – высшая порода. И когда Бараш взвешивал, с кем ему идти – он решил верить немцам. Хотя он знал, что

последнее слово всегда за СС, и Тененбаум его убеждал, что немцы врут, но Бараш верил. И боялся за себя. За себя! Он постепенно порвал все отношения с Тененбаумом из боязни перед немцами. Дошло, что Мордахя хотели арестовать и он ушёл в подполье.

Это путь Юденратов, обычный путь, ужасный. Даже если у Юденратов были вначале другие намерения, они в конце сошли на дорогу содействия немцам. Потому что гетто – не продолжение еврейской общины, не еврейское государство, нельзя было идти на удочку этой немецкой пропаганды. Немцы создали Юденраты, чтобы они служили им. Для истребления евреев, больше ничего. Юденрат во Львове не хотел идти по этой программе немецкой, так его весь немцы уничтожили.

Иногда говорят: «Вот такой-то глава Юденрата считал, что он помогает людям своими уступками немцам. И если он, например, не погонит на смерть своих стариков или маленьких детей, то немцы сделают это сами и убьют ещё больше. Лучше кого-то спасти, чем никого». Но какое они имели право решать, кто должен умереть? Здесь, знаете, шло об очень существенном... И кто ему даёт право как еврею пойти и делать работу немцев? Это демагогия самая дешёвая... Вот вы тоже спрашиваете: может быть, они могли отказаться или убежать из гетто, а они оставались, как Черняков, чтобы спасти других, самопожертвование такое, и вот будто бы Черняков думал, что у него особая миссия, долг...

Я не психолог. Я прямо считаю, что эти люди были слишком маленькими для таких задач, которые они себе как будто поставили. Слишком маленькими, чтобы в такое ненормальное время стоять во главе какой-то общины людей. Кто-то из них потом сообразил, к чему идёт, и ушёл, чтобы не сотрудничать с немцами, а кто остался, ушёл на дорогу коллаборации. Ведь из правильного пути на неправильный только один шаг. С

той скользкой дороги нет возврата. Мы знаем в Варшавском гетто евреев-полицейских, которым обещали, что если ты приведёшь на депортацию столько и столько, то мы сохраним твою семью. И он искал евреев и приводил, а его обманули: потом немцы взяли его семью. И он не перестал немцам служить. Казалось бы, он должен быть готов тоже погибнуть. Но он упал так низко, что он уже не может выйти из этого всего. Вот ужас! Так что вся эта рационализация, будто они думали, что если не я, то будет кто-то хуже меня – это всё чушь. И никто нигде не спас никого! Они и сами тоже погибли.

Я пытаюсь снизить накал: – Вы говорите, что эти люди были мелкие. Но они умели организовать работу и жизнь в гетто в жутких условиях: общественные столовые, места работы, медицинское обслуживание, снабжение, даже учёба, даже театры... Всё же незаурядные люди, разве не так?

Я неудачно пытаюсь...

Б. К. Слушайте, они ведь не сами это делали! В геттах были умелые специалисты, организаторы. Они сами приходили в Юденраты, потому что работать там значило выжить. Театры... В Варшавском гетто было кабаре, но кто ходил туда? Проминенция [верхушка], немцы... Кто-то исполнял, скажем, песни Гебиртига, а он умирал с голода. Он просил, сохранились его письма: "Я умираю с голода, нельзя ли мне прислать что-нибудь за исполнение песен моих".

Мы теперь разложили всё по коробочкам и на одной надписали "Пассивное сопротивление". Театры, общественные кухни, детские приюты и так дальше... Но надо же взять во внимание, что пока одни шли смотреть спектакль, в тот же день в Лодзи или Варшаве умирали сотни людей. И кто организовывал кухни? Те же люди

из Сопротивления. Потом они взялись за оружие, а вначале они просто хотели спасти других. Это не были люди из Юденрата, это люди из организаций Сопротивления.

Смотрю на голубые сполохи её глаз, но вспоминается мне: Черняков покончил с собой при начале депортации варшавских евреев и на похоронах поминание ему произносил не кто иной, как Януш Корчак. Вспоминаются еврей-полицейские и еврей-члены Юденратов, убитые за неповиновение немцам... Или просто убитые... Черняков, расстрелянный Генс, Бараш, отправленный в Майданек – можем ли мы их судить? Спрашиваю уже вслух.

Б. К. Надо судить. Не перед судом, но есть у каждого право по-человечески судить.. Это не подход, по-моему, что если я там не был, то не имею права судить. Болтовня. Не судить значит избегать ответственности. Есть в конце концов правила поведения человека в любой ситуации. Даже в лагерях смерти не все упали, были люди, которых немцы при всей их бесчеловечности не смогли растоптать, люди, которые вели себя как люди. Есть, понимаете, какие-то этические нормы...

Несгибаемо пряма Б.К. и праведен гнев её . Но тогда, выходит, и коммунисты логично не верили ни Барашу-пособнику немецкому, ни Тененбауму, с Барашем связанному. Тем более, оба – сионисты, давние враги, а врагам – только бой. Тоже этика, коммунистическая.

Б. К. Хайка Гроссман [«А-шомер а-цаир», сблокированная с коммунистами] говорила, что

привозила из Варшавы записку от тех коммунистов нашим, им разрешалось сотрудничать с "Дрор". Но наши коммунисты сказали, что Белосток – это Белоруссия, и их ячейка обязана обратиться к белорусским коммунистам.

Б. К. хохочет. За её смехом: обратиться как? тайной поездкой? почтой? на приём записываться к подпольному начальству? Смерть-то у горла...

Б. К. (отсмеявшись, миролюбиво). Тяжело понять, как они рассуждали тогда. Среди самих коммунистов был разлам [раскол]. Одни хотели воевать внутри гетто. Другие во главе с Юдитой Новогрудской говорили, что это невозможно: в Белостоке узенькие улочки, дома деревянные, невысокие, в них нельзя укрываться. И евреи здесь запуганные, замороженные, масса не поддержит восстание. Надо бойцам уходить в лес и там воевать. И некоторых своих Юдита отправила в лес. Так её, несмотря, что она сама, очень больная, осталась в гетто, её коммунисты за неподчинение исключили из партии.

С партдисциплиной у коммунистов жестко...

Довольно старый анекдот: корабль прибил к необитаемому острову. Обнаружился Робинзон, еврей. Показывает гостям: вот моя хижина, вот огород, коза приручена, вот я две синагоги построил... – Зачем же две? – В одной молюсь, а в другую – ни ногой!

Читатель, кто доберётся до Юдиты Новогрудской спустя страниц тридцать, обернись сюда, к памятнику еврейско-коммунистической непримиримости.

Б. К. В тех обстоятельствах нельзя быть человеком, ограниченным партийным мировоззрением, как бывало

у коммунистов. Тененбаум, хотя и сионист, не был партийным по своему сложению, не шёл по одной какой-то линии... Он был контактный, очень открытый, располагавший к себе, прекрасный рассказчик, личность высокой культуры и очень человечный. Он мне однажды писал: "Недавно ругал моих друзей, теперь переживаю: ну как я мог с ними так разговаривать?!" Он всё время себя контролировал, правильно ли он поступает.

Мордахай в Белостоке был приезжий, никаких связей, а надо искать средства, людей. Его идея была использовать всех, кого можно. Надо взять в расчёт, что у нас не было ниоткуда попартия [поддержки]. Внутри гетто люди не хотели Сопротивления, шли по еврейской традиции, что не будем дразнить врага и всё кончится хорошо. И снаружи...Подполью в любой стране всегда нужна база извне, скажем, у партизан советских была Большая Земля, Москва, у поляков – Лондон, а у нас никого, кто бы к нам говорил, поддержал на духе, сообщал, что делается, давал указания.

Даже ишув [еврейское население Палестины] не помогал евреям. Конечно, у ишува были свои заботы, большие заботы. Бен-Гурнион смотрел вперёд, он хотел, чтобы евреи воевали в английской армии, чтобы после войны сказать: "Мы вам помогли, за это нам надо что-то дать". Так идёт в политике. Но такая стратегия, она была не в нашу пользу.

Надо тоже учесть, что ишув был очень маленький, шестьсот пятьдесят тысяч евреев всего-навсего, и очень бедный: безработица, нищета... А во время войны здесь были английские войска, базы, торговля, процветание [процветание], стало лучше жить. Было содействие с Великобританией, а англичане этого элемента «евреи» не хотели громко касаться, потому что ни американцы, ни англичане, никто не хотел класть голову за евреев.

Руководители ишсува молчали про уничтожение евреев ещё и потому, что боялись паники, ведь здесь у многих были родственники в Европе. Конечно, кто хотел, мог узнать, в газете «Давар» сообщалось, но люди не верили: такое не кладется на ум. Мордахай имел большие претензии: его близкие товарищи, большая часть ишсува и очень влиятельная часть, они сидели во всех органах и сидели как парализованные. Прямо растерялись. Они получали, и очень быстро, все сведения о том, что делается в Европе с евреями. И не реагировали.

Создали, хотя и поздно, кажется, только в 1943 году, «Совет для спасения евреев». Но они не знали, как помочь. Думали, как всегда, послать посылки или деньги. Немцы иногда разрешали посылки и почти всё отбирали себе. Смешные эти посылки и денежная помощь были ничто, ничего они не могли изменить. Полезнее было бы хотя бы из Лондона вмешиваться, подогревать нас, говорить: «Мы с вами». У поляков было подпольное радио, передачи из-за границы, а у нас?.. Ах... [Вздыхает]. Почему из Лондона могли слать оружие в подполье полякам, а нам нет? Мордахай тогда говорил: «Мы ещё живы, а они там нас отпевают, это всё, что они умеют делать. Но мы не хотим, чтобы нас отпевали».

Бен Гурион считал, что у ишсува нету сил воевать с арабами и ещё заниматься евреями в других странах. Возможно он был прав, но иногда даже только жест солидарности важнее, чем физическое участие. Когда они в конце войны, в сорок четвёртом, послали парашютистов [Хана Сенеш, Энцо Серени и другие, выброшенные с парашютами в оккупированную Европу для помощи евреям] – это и был такой жест, но слишком поздно, чтобы повлиять на что-то, только зря погибли хорошие люди. А раньше – даже не надо было посылать людей, хотя их нашлось бы достаточно, надо было создать какой-то штаб, хоть несколько человек,

знающих дело. Вроде партизанского центра в Москве, который давал направления... Я видела русский учебник партизанской войны, указания, как воевать, как добиваться результата... Нужна теория, штаб, руководство – это была бы поддержка очень такая естественная, я бы сказала. У нас ведь не было никакого опыта, как бороться с немцами.

Мы и с оружием не умели обращаться: молодые, никто ничего не знал. Мордахай привлек ревизионистов [сионисты-ревизионисты, последователи Жаботинского], среди них были ветераны польской армии, они понимали в оружии и ремонтировали его в мастерской, которую создал Мордахай.

Ципора Бирман (погибла в восстании белостокского гетто, её записки опубликовала Б. К.):

Мы готовим самодельные гранаты. Мордахай уже грамотный химик. Он ставит опыты, радуется каждому удачному результату...

Вчера испытали первую гранату. Она взорвалась. Но есть ещё неполадки.

Хайка Гроссман:

Первый образец гранаты выглядел прекрасно, но мы ошиблись. Это была жестяная банка примерно восемь на двенадцать сантиметров, заполненная динамитом и кусками металла... Мы придумали запальный шнур... К моменту, когда граната долетит до цели, шнур должен догореть до динамита и граната взорвется. Мы сшили узкие мешочки шириной в полсантиметра из особой ткани и заполняли их порохом. Порох не мог распределяться равномерно; огонь в одних местах разгорался быстро, в других горел слишком медленно. Взрывчатка, которой мы пользовались, была сырой,

некачественной. Мы соорудили электросушилку и находились в постоянном страхе взрыва.

Ципора Бирман:

Сегодня испытали вторую гранату. Она не взорвалась... Наши ребята устраняют ошибки и становятся настоящими специалистами. Скоро заработает целая фабрика. Главный инженер - Мордахай.

Окно комнаты выходит наружу гетто. Лестница вниз, немецкий часовой... Он не знает, что этажом выше мы готовим для него гранату. Мы прикидываем, как её отсюда получше добросить до него. Мы также учимся технике. Как сделать, чтобы граната не подвела нас, чтобы она взорвалась наверняка.

Б.К. В этой комнате при входе в гетто на Юровецкой 3, где Мордахай жил, он организовал обучение: как стрелять, как обращаться с оружием. Наши ребята ведь вообще оружие в руках не держали. Я тоже обучалась.

...Мы делали и "коктейли Молотова" [бутылки с зажигательной смесью]. Ту комнату на Юровецкой мы получили с помощью Юденрата, как и огород, где мы выращивали овощи и одновременно привлекали молодёжь к делу Сопротивления. В каждом гетто все его средства и деньги принадлежали Юденрату, поэтому Мордахай и использовал Бараша. Он все пути пробовал. Мы хотели даже посылать своих людей в еврейскую полицию, чтобы она была своя, чтобы меньше служила немцам. Но это не работало.

Он и с коммунистами в конце концов договорился, и коммунист Даниель Мошкович встал потом рядом с ним в руководстве восстанием – вместе и погибли.

По словам Б. К., Тененбаум считал, что еврей-коммунисты в отличие от сионистов, могут иметь связи снаружи, у них ведь на арийской стороне было своё подполье.

Наверно Тененбауму помнилось Варшавское гетто – первый револьвер его бойцам пришёл от коммунистического подполья.

Б. К. Оружие, вы понимаете, – самый важный вопрос. Мы воровали с немецких складов оружие и пронесли в гетто. Хранили оружие в схроне, при Мордахе его расширили, там было электричество, радио.

Когда я вскоре начала работу как связная на арийской стороне, одна из моих задач была добыча оружия.

Мою жизнь на арийской стороне начали готовить в декабре. В это время поляки проходили перерегистрацию и получали удостоверения личности – аусвайсы. Мне в гетто изготовили фальшивую метрику на имя польки Ядвиги Шкибель, я с ней несколько раз выходила из гетто фотографироваться, оформляться. Получила аусвайс и вышла из гетто.

Все организации: коммунисты, помровцы и другие – имели своих связных на арийской стороне. "Дрор" было движение наиболее демократичное, рабочая молодёжь, многие не знали хорошо польский язык, их нельзя было использовать как связных. Поэтому у нас таких было только трое, но летом сорок второго двух поймали и оставалась только одна – Тэма Шнейдерман.

Она заранее нашла мне на арийской стороне комнату и работу – убирать у трёх немцев. Одного из них она знала от другой нашей, связи всегда передавались...

Я оказалась в очень хорошем положении, поскольку ничего не должна была искать. Когда ищете, вы всегда подозрительны. Меня от этого избавили, мне было легко. Я могла сразу легализоваться, пойти в лишкат авода [это уже иврит, «служба трудоустройства»] и

получить удостоверение, что я работаю; поляков без удостоверения могли выслать на работу в Германию.

Я начала свою карьеру [смеётся] как связная с тридцать первого декабря сорок второго года. Новый Год... Из гетто попала прямо под ёлку.

В тот день я вышла из гетто очень рано утром. По аусвайсу я жила в деревне. Оттуда приехать так рано нельзя, пришлось гулять по улицам.

Довольно опасно, но – надо... Иду, первый раз сама хожу, всё для меня чужое, настроение не очень, холодно, и на сердце холодно. И вдруг встречаю знакомую из Гродно, еврейку. И она бросается ко мне, что я должна её спасти. А я первый раз, когда должна только на себя полагаться.

Спрашиваю, что случилось. Оказывается, она ушла из комнаты, которую снимала, потому что она чувствует: хозяева подозревают, что она еврейка, и они её выдадут гестапо. «Возьми меня к себе жить». Я говорю: «Слушай, я только что из гетто, у меня есть адрес, но я ещё там не живу». А она такая пуганая, говорит: «Делай, что хочешь, но у меня нет куда пойти». Ну, не оставлю же я её так, на смерть?! Говорю: «Ладно, пойдём, только не представляю, что я скажу хозяйке, как я ещё там не жила, а уже привожу подругу».

Пришли. Я представила хозяйке эту девушку и сказала, что я не хотела на Новый год быть одна и вот пригласила подругу побыть со мной в праздник и надеюсь, что хозяйка не будет против. Хозяйка сказала: «Хорошо». И даже вечером пригласила нас на ужин.

У неё прекрасная ёлка стояла. Она жила одна, детей не было, муж-польский офицер пропал где-то на фронте... Она была молодая, свободная в обращении. Меня особенно не расспрашивала – плачѹ за комнату и ладно...

А я не любила очень отвечать, когда меня расспрашивают; такой характер... Я почти никогда не

врала, просто то, что не хотела сказать, – не говорила. Я очень натурально себя вела, не играла какую-то роль. Я даже рекомендовалась не как в документе «Ядвига», а честно: «Броня», как будто второе имя. Я с людьми легко общалась...

Хозяйка пригласила соседей. И вот моя подруга сидит с гостями, а я на кухне помогала. Вдруг приходит ко мне на кухню хозяйка и говорит: «Слушайте, ваша подруга – еврейка!» – «Почему?» – «Знаете, одна из гостей сказала ей, что она выглядит, как еврейка. И она очень нервно вскрикнула: «Але ж ниц подобнего» [«Ничего подобного»]. Никакая полька так бы не ответила».

У меня сердце стало [смеется], стало вообще. И правда, полька так не взорвалась бы. Получается, её сразу подозревают, хотя и внешность в порядке, и язык хороший, но – нервы, понимаете, нервы... Ей, как и мне, было девятнадцать, эмоциональный возраст, и она была очень напугана тем, что случилось раньше с ней, она надеялась здесь отдохнуть, а первая вещь, что ей говорят, что она похожа на еврейку.

Ну, я должна реагировать... И я говорю хозяйке: «Действительно, странный ответ. Но вопрос вашей соседки тоже странный». Хозяйка говорит: «Да она вообще плохой человек». И тема кончилась. А потом кончился ужин. Всё благополучно. Можно прийти в себя...

И тут появляется офицер гестапо. В эту же кошмарную новогоднюю ночь! Оказывается, он пришёл за моей хозяйкой, и они пошли гулять.

Для меня всё как-то... шок... Я здесь, офицер гестапо... Новогодняя ночь, подруга, соседка, этот хозяйкин любовник... И всё шло через мою комнату, потому что вход со двора в кухню, из кухни в мою комнату, оттуда в другие комнаты к хозяйке...

Ну, ладно, они ушли, мы помыли посуду и легли в мою кровать.

Конечно, не могли уснуть.

Вдруг стук в дверь. Барабнят, и слышно, что пьяные немцы. Я решила не открывать: окна завешены из-за светомаскировки, темно, пускай думают, что никого нет. Но они начали бить рядом с дверью в моё окно. Я испугалась: могут разбить стекло и вообще, почему я не открываю? Я набросила на себя пальто и пошла к двери. Подруга осталась в кровати. Она дрожала со страха.

Я ихпустила. Два солдата, лет двадцать два-двадцать пять, пьяные. Спрашивают, где хозяйка. Меня в сторону и вваливаются в мою комнату. Один сразу идёт к кровати. Я говорю: «Хозяйки нет, идите, потом придёте». Они говорят: «Ну, вы же девушки молодые, пойдёте с нами». А я говорю: «Мы не гуляем, нам завтра на работу». Но ничего не помогает...

Б. К. сегодняшняя, статная, величавая, сидящая в современном кресле так, что оно глядится тронем английской королевы, – да как, думаю я, с тугой косой, с глазами-озёрами была она хороша в свои девятнадцать! А у солдат ещё и Новый год, шнапс...

Б. К. Тот первый сел к подруге на кровать, и она там со страха умирает. А другой стоит передо мной в комнате, и я только повторяю: «Уходите, уходите, уходите. Мы не гулящие. Придёте, когда будет хозяйка...». Но ничего не помогает, уже не знаю, что делать. В таких случаях ситуация часто как будто подсказывает. Там был стол небольшой, два кресла и кровать, больше ничего. Я говорю тому, кто стоит: «Битте [пожалуйста], садитесь». Мы сидим в креслах, я его внимательно рассматриваю и говорю почему-то очень медленно и очень тихо: «Ваш друг очень не по-жентельменски себя ведёт, прошу вас, возьмите его и

приходите, когда будет хозяйка". И он, как под гипнозом – я была ошеломлена! – встаёт, механично так идёт к кровати, берёт за воротник второго: "Франц, ком [пошли]!". И они уходят! Я, знаете, остаюсь стоять, как во сне, не понимаю, как это они ушли...

Я легла, но мы, конечно, уже не спали, да и ночь почти прошла. Вот такая у меня была первая ночь и Новый год, и всё у меня как-то в голову не клалось...

Клозет был в огороде, и утром я вышла. А напротив выходит та недобрая соседка. Здравуюсь. Она не отвечает, а говорит: «Ах,какие у вас еврейские глаза!». Это, наверно, была правда, потому что я была такая озлобленная... [Думаю, Б.К. оговорила: «озлобленная» в смысле «взбудораженная», «неспокойная»; а глаза-то у неё голубые, славянские]. И я говорю: «Что, пани, повашему, они такие красивые?». [Смеется]. Она от еврейки этого не ожидала. Она хотела меня спровоцировать, посмотреть реакцию. Больше она ко мне не приставала.

Подруге я про это не рассказала, чтобы её ещё больше не пугать. Но она и так решила: «Возвращаюсь в гетто. Такая жизнь не на мои нервы». Я её не отговаривала: я видела, какая она, у неё нет нервов долго продержаться.

Я ходила в гетто через одно удачное место возле его границы, где жили немцы, между двором их дома и гетто была кирпичная стена, можно перелезть. Я повела её туда, и она вошла. Там, в гетто потом она погибла. А я осталась...

Осталась одна... Потому что очень скоро кроме меня уже не стало связных. Тэма Шнейдерман поехала от нас в Варшавское гетто с деньгами для их подпольщиков. Она ездила связной по всей Польше. А 18 января была в Варшаве акция, и первое сопротивление, и всякий след по ней исчез. Пропала...

С 18 января связи с Варшавой не было. Мордхай хотел меня послать в Варшаву, но он говорил: «Куда тебя

посылать? Не к кому...». Он думал, что в Варшаве все погибли...

После потери контакта с Варшавой Мордахай чувствовал себя одиноким. Там были друзья, хотя не его калибра... И Тэма, знаете, она героическая связная и подруга Мордахая такая... Она помогала ему во всём.

Он сделался Тамаров по её имени Тамар...

Иосиф Тененбаум (послевоенный автор, из книги "Подполье", Нью-Йорк, 1952):

Потрясает, сколь многого достиг этот молодой человек [Мордахай Тененбаум] за свою сверхкороткую жизнь...

Тамара Шнейдерман, медсестра... Жила в Варшаве, с 1939 года вместе с Тененбаумом в Ковеле и Вильно. С приходом немцев осталась на арийской стороне нелегально как Ванда Маевская. Под этим именем ездила по различным гетто Литвы, Польши, Белоруссии и Украины...

Тамара и Тамаров - даже среди героев трудно найти две подобные личности...

М. Тененбаум (из писем):

Она [Тэма] ездила 20 раз между Белостоком и Варшавой. Она бывала всюду - она стала легендой...

Тэма - живая энциклопедия бедствий польского еврейства... Откуда бы она ни приходила, она обеспечивала нас на месяцы вперёд материалами для наших публикаций и для архива.

Б. К. У Мордахая и в Варшавском и в Белостокском геттах была тяга к историческим архивам, он старался хоронить [сохранять] документы. Всегда думал: «Нас не будет, но пускай что-то останется и расскажет, как здесь было».

Сразу после его приезда, в ноябре сорок второго, в Белостоке начали собирать архив. Материалы движения «Дрор», материалы жизни гетто, бумаги - Бараш ему всё давал.

М. Тененбаум (из дневника):

Бараш прислал мне несколько документов и фотографий, найденных в одежде, поступившей из Треблинки [на сортировку]. Я хожу с ними весь день... Мне кажется, мои карманы горят от них.

Б. К. С Мордхаем работал Цви Мерсик. Он записывал свидетельства евреев из других мест, беженцев и переселенных. Он приплатил жизнью: заразился от приезжих тифом и умер.

Мордхай собрал очень интересные материалы. Дневники, песни, стихи, рассказ первого беглеца из Треблинки, рукописи известных авторов и неизвестных.

Ему помогали, но он всё сам просматривал и сам писал. И на иврите, и на идиш, и на польском. Находил время, ночами писал. Много, очень много осталось от Тененбаума, вы можете его сообразить на фоне не только того, что он сделал, но и что он думал, что писал.

Создание архива в Белостоке похоже на создание архива Рингельблюма [историк Варшавского гетто]. Но в Варшаве архив делали годы, а в Белостоке – несколько месяцев.

М. Тененбаум (из дневника):

Не знаю, как эти бумаги дойдут до будущих поколений. В худшем случае придется убить одного немца, чтобы преодолеть стену и передать материал наружу Бронке.

Б. К. Это он писал 3 февраля, за один день до начала немецкой акции в гетто. В лихорадке приготовлений к

борьбе его сверх проблем волновало, как сохранить исторический материал. Он ещё в конце января просил меня подумать о тайнике снаружи гетто.

У меня в те дни хватало приключений. В начале февраля от ликвидации в Гродно бежали в Белосток пять девушек. Им дали мой адрес на арийской стороне. Это нельзя было делать. И вот они приехали, а гетто окружено, там тоже акция. Куда им идти? Ко мне!..

Среди них, между прочим, моя учительница польского языка из гимназии, коммунистка. Я их приняла. На моё счастье в то время хозяйка была в больнице на операции. Уходя на работу, я их закрывала, просила очень тихо себя вести. Но соседи пронюхали что-то, пошли в госпиталь рассказать хозяйке, и она попросила своего гестаповца проверить, что здесь делается. Какие у меня были истории!.. [Хохочет].

Б. К. красива. Двигается, жестикулирует, ошибается в русском языке, радуется, даже злится – всё красиво. Смех её тоже красив: откровенен, беспримесно весел. Она смеется, а я прикидываю: акция в Гродно, убивают её семью, она «отсиживается», а рядом гибнут свои, может, мама, может, любимый; ведь ей девятнадцать... Б. К. смеется...

Б.К. Гестаповец явился, когда меня ещё не было. Постучал, не ответили, а у него ключ, он вошёл и увидел этих девушек. Моя учительница – волосы огонь, не красивая, но очень интересная – она произвела на него большое впечатление своим немецким языком. Когда я вернулась домой, они мне ничего не сказали. А вечером он стучит...

Двух девушек, у которых был хороший вид, я оставила сидеть, а трёх спрятала: двое стали за одеялами, которые были на окнах для светомаскировки, и одна под кроватью.

И вот он со мной разговаривает как будто ничего... Я сразу почувствовала что-то нехорошее: он никогда раньше со мной не говорил, проходил через мою комнату и всё. Я обыкновенно после работы сидела за столиком и читала или учила немецкий. Знакомых никаких, сидела дома...

Он спросил, что за девушки. Я ответила, что мне одной без хозяйки страшно, и я попросила подруг быть со мной.

Я не знала, что он знает про всех пять. И среди них та учительница, с которой он говорил, она больше всех похожа на еврейку, я её первую спрятала. Он спрашивает двух, которые с нами, кто они, где живут. Я боюсь, что они скажут не так, и говорю: «Они не знают немецкий», и отвечаю за них. Он говорит: «Ты не бойся одна, с тобой ничего здесь не случится, а они не должны здесь быть, пока нет хозяйки». Он тоже прав. И он берётся в это вечернее время, когда комендантский час и запрещено ходить, провести их домой. Представляете? «Домой!»

Я играю обиженную: «Ну как же, я пригласила подруг, а вы их выгоняете!». Но никакие мои аргументы не помогают, он настаивает: «Не волнуйся, я их провожу и всё будет в порядке». А те трое спрятанные, там двое под одеялами, я боялась, что им воздуха нехватит – Боже мой, как я дрожала!.. Это долго продолжалось, мне казалось: век.

Я вдруг так устала. Я же знаю, что с ними случится... И я вдруг начала так рыдать...

Знаете, это меня спасло. И их. Он позвал меня на кухню и говорит: «Я ничего плохого не хотел сделать. Я к тебе хорошо отношусь, ты всегда книги читаешь»... И всё сообщает: что он здесь уже был, соседки сказали, хозяйка просила, он приходил... И спрашивает: «А где та, которая так замечательно по-немецки говорит? Почему они здесь спрятались?». Я говорю: «Я их просила

не открывать и не показываться» – «А где они сейчас?» – «Ушли домой». И плачу, ручья слёз, не могу перестать. Он говорит: «Успокойся. Я сегодня ничего плохого не сделаю. Но завтра пускай их здесь не будет». И ушёл.

Здесь опять счастье... Акция в гетто была с пятого до двенадцатого февраля. Они пошли в гетто уже после неё. Я даже не знала, что там уже конец. Я повела тех троих, которых спрятала, на моё место к стене гетто.

Прямо через немцев. И они вошли в гетто. Две первые девушки остались у меня.

На другой день я сама пошла в гетто узнать, кто остался после акции, и как и что...

Хайка Гроссман (тоже связанная, только от «Аш-шомер а-цаир», тоже пережила акцию на арийской стороне и тоже на следующий день пробралась в гетто «узнать, как и что»):

Всё гетто - кладбище. ... За неделю убиты тысяча человек и 12000 высланы в Трєблїнку... Тысяча евреев не далась живыми в руки палачей!

...старая учительница Франя Горовиц приняла яд, чтобы не попасть в руки палачей. Возле дома на Купецкой висел Ицхак Малмед. Он плеснул серную кислоту в лицо эсэсовцу. Немец ослеп, банда убийц запаниковала, в суматохе застрелили своего...

Евреи прятались между двойных стен, в тайниках чердаков и подвалов... Немцы объявили: «Тот, кто откроет места укрытия евреев, останется жить». Такие нашлись... Они получали удостоверения: «Этот еврей содействует германским властям в эвакуации евреев из Белостока». На рукаве у них была позорная лента с надписью «Выдающий евреев». Один предатель выдал 200 евреев... Праведный гнев народа должен был бы кровью изменников смыть пятно позора. Где были подпольщики?

Часть подпольщиков [шомровцы и «Дрор»] решила не выступать. Нужно время укрепить свои силы... [Другие] придерживались прежнего общего решения: начать вооружённое сопротивление, как только схватят первого еврея... Хотя бутылки с кислотой, железные прутья, топоры – не оружие для эффективной атаки. Один пистолет и одно ружье – много ли пользы от них? Как и от старых гранат, хранившихся в земле – скорее всего, они отсырели и не взорвутся.

Мордехай предложил всем присоединиться к его людям, скрывающимся на фабриках... Он считал, что время ещё не пришло.

...наше сопротивление длилось недолго. Почти все были схвачены, им оставалось только гордиться своим поведением и ранением нескольких убийц...

Фрида Фельд и её подруга Блюма из своего окна бросили на улицу две гранаты. Одна не взорвалась, другая не причинила серьёзного ущерба проходившим немцам. Обоих убили на месте...

[Схваченные бойцы] в поезде смертников [в Треблинку] решили бежать. Мужчины требовали, чтобы девушки прыгали первыми: больше шансов спастись, пока охрана не опомнится... Девушки возражали: мужчины нужнее Сопротивлению... В конце концов прыгнули все. Поезд шёл быстро, их разбросало на километры... Роше попала под колёса, ей отрезало ноги.

Цивья Кругляк, раненная очередью, лежала без сознания в крови... Только двое вернулись в гетто.

Тененбаум оказался прав: у безоружных разрозненных бойцов толкового сопротивления не могло получиться. Но бездействие так, видно, жгло его, что на шестой день акции он не утерпел, решил: выступать. Назначили: в субботу 13 февраля. А двенадцатого немцы прекратили акцию.

М. Тененбаум (из письма сестре):

...прошла акция... Мы не реагировали.. Мы только сохранили жизнь нашим людям. Здесь не осталось бы ни одного еврея, взорви мы наши самодельные гранаты... Мы ещё взорвем.

Ципора Бирман:

После акции гетто выглядит одной большой кровавой баней. Тысяча человек расстреляна. Десятки покончили с собой. В канализации кровь текла, как вода. Подушки в пятнах крови, разрушенные дома, пожитки в грязи... Повсюду во множестве лежат трупы...

...наша судьба - искупить грехи всех прежних поколений. Мы превзошли всех. Мы почувствовали боль их всех, мы прошли все круги ада. Мы тоже были обречены исчезнуть в молчании. Нам даже отказано в погребении по обычаям наших праотцев. У нас никакого выбора, только честная смерть вместе с тысячами... ...еврейский народ не погибнет... Он встанет и отомстит за нашу невинно пролитую кровь...

Мы зовём вас к мести, мести без жалости, без «хороших» немцев. «Хороший» немец заслуживает лёгкой смерти. Он может получить то, что они обещали евреям, которые были хороши для них: «Тебя застрелят последним». Это наше требование. Это воля тех, кто умрёт завтра.

...А мы чай попиваем. Ложка о чашку колокольчиком. Веет ванилью печенье.

За окном солнце только что откатилось, дневное яростное небо унялось, ночь. Звёзды надменны. Тихо.

Ангелы крылья сложили. Может быть, прислушиваются к Ципоре Бирман из белостокского «Дрор»...

Б. К. Во время акции подпольщики «Дрор» все пятьдесят уцелели.

Как рабочие на фабриках и другие категории, которые не брали. Все девушки спрятались в подземном бункере, большом, там позже и оружие хранилось, и радио было, каждый день известия слушали – хороший схрон.

Мордехай приносил своим пищу, заботился о них. Он взял себе шапку полицейского и ходил по гетто. Страх у него никакого не было. Для властей гетто, для Юденрата он был авторитетен, его уважали. А простые люди на улицах тогда не были, все прятались... Так что его не выдали. А он смотрел только, как людей сохранить.

Я после акции возвратилась к себе и продолжала жить с двумя гродненскими, которые остались у меня. У них в гетто никого не было.

Они немного моложе меня, выглядели хорошо [непохоже, значит, на евреек]. Мы решили, что они попробуют записаться на работу в Германию – для евреев тоже средство спастись. Я пошла с ними. Всё удалось. Их взяли в лагерь возле Белостока, где готовили в Германию девушек, большинство деревенских. Их там дезинфицировали, инструкции давали...

На другой день приходит ко мне поляк, который служит в гестапо. Он спрашивает, знаю ли я тех двух девушек. Ой, чувствую, нехорошо с ними. Я говорю: «Знаю». «Они сказали, что ты – их родственница». Говорю: «Да». Он долго говорил, нащупывал, кто я. В конце разговора я узнала, что их схватили по подозрению, что они еврейки, а они дали моё имя и адрес как родственницы-польки и что я могу подтвердить, что они польки. Что они ещё могли сделать?..

В конце он просит у меня документ. Разговор шёл спокойный, но здесь меня, знаете, как будто собака укусила, такая злость на него, на всех, на весь свет! Ну, две девушки хотели жить, ну, кому это помешало?! И я

говорю: «Нет! Берите меня в гестапо, и я покажу документы действительным гестаповцам. А поляку не покажу. И опять что-то непонятное: он встаёт и уходит. И больше я о нём не слышала.

На завтрашний день я пошла в лагерь к девушкам. Довольно далеко.

Я попросилась у немца-караульного, что, мол, там мои родственницы, ба-ба-ба – наговорила... Он меня пустил, но чтобы я через десять минут возвратилась. Я вошла – это было необыкновенно, и все там девушки ко мне кинулись: «Что тебе надо?». Я назвала моих. «А, те жидовки?.. Их уже нет». Как?! «А вот так. Их взяли, увезли». Почему? «А мы были вместе в бане, они такие стыдливые, мы сразу увидели, что не наши».

Понимаете, из-за их застенчивости, из-за того, что еврейки не такие хамки, – их выдали. И они пропали... Пропали... [Сокрущённо упал её голос]. А я вышла... Не знаю, как я не боялась идти в лагерь. Я решила: может быть, смогу им помочь. А ведь тот караульный немец мог меня обратно не выпустить...

Это случилось в середине февраля. В гетто тогда ждали повторения акции.

Сохранился протокол заседания кибуца «Дрор» в Белостоке 27 февраля. Тененбаум поставил на обсуждение две возможности борьбы с немцами. Именно не как спастись, а как бороться: в гетто или уходить в лес, к партизанам. Там всё очень честно, люди говорят прямо: «В лесу есть шанс выжить... Я не хочу быть героем. Лучше живая собака, чем мёртвый лев». А другая говорит: «Я хочу жить, я боюсь смерти, но если примем решение остаться и воевать в гетто – я подчинюсь».

Тененбаум знал, что в гетто плохие условия и долго воевать не удастся, но он всё-таки считал, что надо бороться в гетто. Почему? Во-первых, нельзя убежать и дать погибать остальным – не имеем морального права.

А во-вторых, для истории, мы должны показать будущему еврейскому народу, что не шли покорно на смерть, мы боролись. Он потому и приготовил большой подземный схрон, туда должны были сойти последние, те, кто выживет после восстания, и потом уйти из гетто в лес и продолжать там борьбу.

А мои главные задачи были архив и оружие. Первое: найти место спрятать архив. Хотели в деревне. Я как будто нашла такое место, ездила туда, но я сразу заметила и сказала Мордхаю, что везти архив опасно из-за немецких облав на дорогах. Архив пока остался на месте.

Теперь добыча оружия. Купить нужны деньги. Воровали на фабрике, например, шкуры или сукно, выносили как-то из гетто, а здесь надо было найти покупателя. Потом искать, где продадут оружие. В деревнях было очень много оружия, ведь две войны прошло, с немцами и с русскими, поляков разбили, они бросали оружие, а в деревнях легко его спрятать...

Но надо было найти людей, которым можно доверять. Это делалось через разные связи. Я приезжала, никто не знал, что я еврейка, иногда считали, что я АК [Армия Крайова – польское буржуазное подполье], своя...

Итак я налаживаю контакт, а потом еду туда опять и получаю оружие.

Вначале были только маленькие вещи: пистолет, гранаты... Как это перевезти? У меня был чемоданчик, такой, не делал большого впечатления. Иногда я резала наполовину буханку хлеба, вынимала осторожно мякоть, вкладывала гранату или пистолет, аккуратно закрывала мякотью, чтоб не видно. Ещё оставались мне крошки покушать – награда в голодное время [вместе смеемся] .

Для примера. Я получала оружие в одной деревне, от неё до станции десять километров. Я всегда планировала себе маленькую станцию, чтобы поменьше пассажиров, нет немцев... Вот приближаюсь к такой станции и вдруг

вижу немецкого жандарма с собакой. Патруль. Инстинктивно захотелось обратно. Но я заметила, что и он меня заметил. Тогда я прямо к нему и спрашиваю (надо же что-то сказать!): «Когда поезд придёт?». Он рассматривает меня и спрашивает, что у меня в чемодане. Что делать? И я называю ему всё, что запрещалось в город перевозить: колбаса, сало, масло... И в конце спрашиваю: «Открыть чемодан?». Он говорит: «Не надо». Наверно, решил, что дело несерьёзное. Тем более, девушка... [Нетрудно представить, как она улыбалась, чего бы здоровому арийцу не поиграть рыцарем и благодетелем красотки, хотя бы и польской]. И он ещё подвёл меня к проводнику поезда и наказал сделать мне место.

Да, очень случались интересные вещи, ездить ведь было непросто, требовали справку, что разрешено ехать по такому-то маршруту. Я никогда таких справок не брала, это было опасно.

Я уже говорила, что Тэма Шнейдерман нашла мне заранее удобную работу: убирать квартиру трёх немцев. Они служили на железной дороге вроде начальника поезда. С ними я могла свободнее ездить. Они пускали меня в поезд, когда я говорила, что еду за продуктами. Я с ними через их служебный ход на станции проходила без документов. Тогда нехватало пищи, поляки и эти немцы сами тоже возили из деревни продукты, шмугель [контрабанда], потому что власти не разрешали....

Труднее было возвращаться. Я ведь не всегда знала точно, когда я смогу выйти на станцию к их поезду, и приходилось рисковать. Я могла, например, купить билет через немца, но, конечно, не всегда. Большой риск...

Но тогда не можно было без риска. Вот я воровала у своих немцев патроны. [Изумительное «я воровала» женщины с царственной этой осанкой!]. Они время от времени для тренировки стреляли в тире, и у них были

патроны. И в их доме тоже был учебный тир, при нём столовая, я даже устроила туда на работу одну девушку, ну, я и там...

В общем, работа была удобная.. Но в конце марта я вдруг встретила на улице польку, которая служила в железнодорожной полиции. Она меня знала по Гродно как еврейку. При встрече она не поздоровалась, я тоже. Меня это встревожило. Но я на другой день всё равно пошла на работу, чтобы не усиливать подозрений, если она донесёт. Однако всё было тихо – я через день-два успокоилась, забыла...

Из моих хозяев один, самый старший, маленького роста, он был ко мне лучше: делился своим сухим пайком, разговаривал. Он обычно жаловался на остальных, что они партийные, национал-социалисты, и поэтому им лучше платят, хотя у него стаж больше и пять детей.

И вот я прихожу, двое хозяев в разъездах, а этот лежит на кровати пьяный, над ним какой-то незнакомый немец и бьёт его изо всех сил, а он лежит, не обороняется. Я вошла в комнату, распахнула дверь и крикнула тому немцу: «Вон!».

Боже мой, какую беду я на себя навела! Немец – это немец, он послушался приказа, а на лестнице он начал орать: «Девка! Полька! Может, даже еврейка! Смеет мне командовать!».

Мой хозяин от шума вытрезвел, встал, успокоил того немца, и он ушёл.

Что делать? Не соображаю. Тот немец работал в железнодорожной полиции, и значит, эта женщина из Гродно ему рассказала, что я еврейка.

Ой, Боже мой! Столько к тому времени накопилось, настроение ужасное...

И я после работы пошла к Блументалю, связанному между мной и Тененбаумом.

Блументаль работал на фабрике на границе гетто, часть на польской стороне, часть на стороне гетто, входы

здесь и там. Я туда ходила почти каждый день, передавала связному оружие и письма и всё, что нужно. Надёжный способ, совсем не опасно.

И вот когда я так разволновалась, я рассказала связному, что случилась страшная вещь, Мордхаю пока говорить не надо, но я должна кому-то рассказать, у меня же никого нет. [Последние слова выделить бы курсивом или хоть значком восклицательным; но Б. К. произносит их спокойно, никак не подчёркивая того одиночества, невыносимого и привычного, профессионального].

Я немного успокоилась, пошла домой. А назавтра на работу, как будто ничего не произошло.

А там один из немцев, который почти никогда со мной не говорил, тут он меня втягивает в разговоры, и я чувствую, что это последствие вчерашнего. Вдруг он меня поймал на каком-то слове: «Броня, это разве немецкое?». Я сразу поняла: я сказала слово на идиш вместо немецкого. И я улыбаюсь ему: «Ах, вы, наверно, правы. Это, наверно, идиш». Его как будто кипятком воды облили. Он делал испытание, а я ему со смехом, и всё естественно: я полька, слышала идиш, вполне могла перепутать.

Ещё один немец лежал у себя в комнате на кровати. Он такой, он любил жить, остальное ему всё равно. И он мне говорит: «Эти поляки совсем обалдели! В каждом они видят еврея. Даже на тебя говорят: еврейка».

Мне очень понравилось: все немцы верят, что я полька, и можно продолжать работать. Я органически не любила бежать от чего-то. Я думала, если начну бежать, так этому не будет конца.

Тут я не удержался спросить: «А вообще вам было страшно? Как вы спали?».

Б. К. Ничего. Спала... По-разному. Чаще всего, спокойно. Но иногда очень страшно, как сейчас, после

доноса, что я еврейка. И всё-таки я считала, что должна как-то сама выходить из положения.

Но Блаumentаль, связной, очень беспокоился и несмотря на мою просьбу всё рассказал Тененбауму. На следующий день я получила письмо от Мордхая: бросить немедленно работу, переехать на другое место, меня могут в любую минуту схватить, а я у нашего «Дрор» единственная связная. Он пишет мне: «Помни, ты – последняя».

Но я не послушалась. Я чувствовала уже, что пока мне ничего не угрожает.

А жизнь продолжалась. В марте Тененбаум сказал мне, что есть в городе верный поляк доктор Филиповский, который согласен без всякой платы хранить подпольный архив. Я сразу пошла к Филиповскому, и мы наметили место на его дворе, где зарыть архив.

На фабрике в гетто сделали три металлических коробки, чтобы спрятать бумаги от воды и другого вреда. Блаumentаль выносил их мне, я перетаскивала к Филиповскому, а тот закапывал. Первую коробку запрятали в марте, третью – в мае.

Филиповский был офицер АК, он работал на складе медицинских инструментов, он потом давал мне всякие медицинские препараты и инструменты для партизан.

...В начале лета у меня появилось чувство, что всё-таки надо поменять жильё. Слишком много накопилось. Эта соседская семья... Мать, которая спрашивала, кто еврейка, и три дочери – все такие ужасные, строгие, длинные, чёрные, бр-р... Жуткие. Как ведьмы...

И тот гестаповец опять пришёл. Офицер, лет тридцать, глаза бегущие. Раньше насчёт моих девушек он мне говорил дружески: «Ты молодая, наивная, есть беглецы из гетто, они хитрые, надо быть очень осторожной, они могут придти и сказать, что они польки». А сейчас он строго очень, на «вы», спрашивает: «Кто вы в конце концов? Еврейка? Или их приятельница?». Я

выдерживаю его бегающий взгляд, и улыбаюсь, и говорю: «Я еврейка» [смеется]. И он так злобно толкнул меня о стену: «Врёшь!».

В общем, мне захотелось отсюда уйти. Но просто исчезнуть – будет подозрительно. И куда? кого спросить?..

Не понимаю, откуда взялась эта сумасшедшая мысль, но в одно утро я иду на гестапо, к этому офицеру.

Называю часовому фамилию, он звонит: «Такая-то хочет вас видеть». Тот приказывает привести меня. Выходит навстречу очень недовольный. Связь с полькой считалась нехорошее дело. И раз у него самого была любовница-полька, он тем более боялся подозрений. Поэтому он подозвал своих товарищей. Им он меня как представляет? «Полька, которая быстро и так хорошо изучила немецкий язык». Значит, я симпатизирую Германии, потому что обыкновенно польки не хотели учить немецкий.

Мы пошли в его кабинет, и он спрашивает, что меня ведёт к нему.

Я начинаю: – Я живу, как вы знаете, в проходной комнате. Очень неудобно, все проходят, вы тоже...

Он смотрит о-о-чень удивлённо: – Ну и что? Сейчас война, у всех неудобства.

– Но мне неприятно. Я бы хотела поменять комнату.

– Ну и меняй. [С восторгом мне: «Он ничего не понимает, что я хочу от него!»].

– Но все хорошие комнаты забронированы для немцев. [Мне: "Хорошие комнаты все были под учётом, полякам их не сдавали"].

—Так и должно быть.

– Какой мне смысл менять плохую комнату на плохую?

– Совсем ничего не понимаю. Что же ты хочешь?

Я пристально смотрю на него.

– Я хочу, чтобы вы позвонили в вашу квартирную службу и чтобы они дали мне направление в комнату для немцев.

И он – не поверите! – механично берёт трубку и звонит: «Сейчас придёт Ядвига Шкибель, дайте ей комнату».

Я хочу идти, так он меня задерживает, чтобы написать ещё записку насчёт комнаты. Он пишет, я жду и смотрю в окно: там евреи из гетто во дворе гестапо работают. Я думаю: «Боже, что я здесь делаю?!». Он даёт записку, провожает до выхода...

Мне дали два адреса посмотреть, уже первый понравился: комнатка небольшая, но отдельный вход, печка есть... Спрашиваю хозяйку, сколько платить. Она такая буржуазная, чисто польская, отвечает резко, недовольно: «Сколько захотите». Она подозревала, что я работаю с немцами и она со мной вообще не хотела говорить. Я думаю: «Хорошо. Для меня так лучше».

И пошла взять вещи, попрощаться с хозяйкой. Мы с ней не очень-то и общались: вечером её часто не было, днём я на работе, ещё я встречалась, с кем нужно, уезжала – дома меня много не было. Но она была ко мне очень добра, подкармливала; я ведь жила с карточек [строго нормированное питание], работа мало что добавляла, мяса вообще не ела, хлеб, ещё что-то...

А через неделю я пришла её навестить, и мне сказали, что явилась АК и её убили за связь с гестаповцем. Боже мой! Она такая хорошая, добрая... И очень красивая, приятная. Всё у неё было, и её – убили... Ну, любовница, ну, что? Никак не клалось в голову: кругом евреев убивают, я – еврейка, и я живу, а она убита.

И вообще, если бы я была там, это всего неделю назад, меня, свидетельницу убийства, конечно бы живой не оставили. Какие-то у меня всё странные истории, случайности, так и получается, что выживают единицы, а большинство погибают...

Я научилась, что во враждебных условиях вы не можете всё до конца предвидеть, но когда надо, приходит идея, что сказать, как поступить...

Как с тем гестаповцем. Почему берётся, откуда?..

Один раз, скажем, я ехала за оружием. Поезд опаздывал. А я должна ехать до одной станции, от неё пешком в деревню, но наступит комендантский час, когда нельзя ходить... Безопаснее было бы, наверно, отложить поездку, ехать завтра пораньше. Но знаете, при такой работе есть какие-то... ну, как сказать... эмунот тэфилот [иврит], не знаю, как по-русски... Суеверия? Да, да, суеверия. [Хохочет. Мистика не по её части]. У меня было такое суеверие, что если я решила ехать, то надо идти до конца. Меня ждут – и я еду. Как будет – не знаю. [Опять хохочет. Просто сверкает весельем].

Ну, поехали. В вагоне свет не зажигают, светомаскировка. Когда темно, все в поезде начинают разговаривать. На лавке визави меня [напротив] сидят двое мужчин, немного пьяные.

Один спрашивает, что я молчу. Я отвечаю: «Какие разговоры, когда я не знаю, как доберусь до своей деревни, ведь приеду поздно, комендантский час...». Он говорит: «Нет! Ты не волнуйся. Ты будь спокойна». Я говорю: «Тебе легко говорить». Он говорит: «Я тебе устрою. Мы возле твоей деревни остановим тебе поезд». Они железнодорожники, поляки. Я говорю: «Но вас поймают!». Второй испугался: «Ты что, с ума сошёл? Как удержишь поезд?».

Вокруг нас почти никого, тихо, и они говорят почти шёпотом. И первый убеждает второго, что вот надо помочь и девушка не верит, что мы способны, а мы сделаем... И устроим немцам страх, что это партизаны, посмеемся... Они немолодые, так что ничего такого, он просто хочет помочь, потому что девушка, и темно, и она боится... И он второго убедил.

Стоп-кран тогда был снаружи, с торца вагона, надо выйти, со ступенек перейти туда, между вагонами, и там уже дёрнуть ручку. И вот он говорит: «Мы сейчас выйдем, а ты приготовься прыгать. Ложись под насыпь и жди пока поезд уедет». Был конец зимы, мокрый снег, и когда сделалось, как они сказали, я легла на снег и ждала. Был распах, крики немцев: «Что случилось?!». Постоял поезд, постоял и поехал...

Я встала. Темно. Куда идти? Ничего не знаю... Но у меня был опыт, я искала любую дорожку, она заведёт в жилое место, где можно хотя бы спросить, где что.

Иду в поле, нахожу дорожку, иду, иду – ничего, ни хаты, ни жилого духа. И вдруг – свет. Мигает. Кто-то идёт с фонарём. Я обрадовалась, бегу туда. А тот испугался, убегает... Я бегаю, кричу: «Что ты? Девушки боишься?». Тогда он остановился. Смотрит на меня: «Что ты здесь делаешь?». Я рассказываю, что поезд вдруг остановился, я подумала, что близко к деревне, куда мне надо, сошла, а сейчас заблудилась, должна быть речка и мостик, как туда попасть?.. Он и верит, и не верит. «Почему это поезд остановился?». Я спрашиваю: «Куда ты идёшь?». Он отвечает, что немцы требуют от крестьян ночью охранять железную дорогу, но оружие не дают, так что они могут только убегать [смеется ещё и ещё].

Он объяснил, как мне идти, и ушёл. Но у меня не было к нему доверия. И я пошла как раз в другую сторону. Брожу, ищу – никакого мостика. Я пошла обратно, как тот сказал. И нашла. Уже почти на рассвете.

Мне нужен был домик возле мельницы, я знала мужика, который там прятал оружие. Я постучала к ним в окно. Они испугались: откуда я взялась? Опять рассказываю про поезд: почему-то остановился, я сошла и так дальше... История для них подозрительная. Но в конце они меня пустили и всё получилось. А наутро по всей деревне пошёл разговор, что ночью партизаны напали на поезд. Так рождаются легенды...

Я надеюсь, что с этими железнодорожниками ничего не произошло.

Вот какие невероятные случаи случались.

А дома я жила спокойно. На новой квартире хозяева – муж, жена, дети: девочка и мальчик. Я с ними встречалась обыкновенно на кухне, куда ходила приготовить себе кушать.

Хозяин-интеллигент, топограф, представительный мужчина. У таких людей не принято особенно распрашивать, и они были со мной довольно сдержанны.

В воскресенье поляки шли в костёл, часто не из-за набожности, а для встреч между собой, самые патриотичные ведь не ходили ни в кино, ни в кафе, чтобы не общаться с немцами. В первое воскресенье на новой квартире хозяйка постучала ко мне: «Панна Броня собралась? Мы уже идём». А я – не знаю, как осмелилась – я сказала: «Я в костёл не хожу». И они это приняли: есть поляки, которые не ходят в костёл. Думаю, даже получилось в мою пользу: не врет, не притворяется...

Однажды хозяин показал мне газету какую-то, я ему другую, постепенно мы стали обсуждать нелегальную прессу, новости, и их подозрение, что я работаю с немцами, исчезло.

Каждый праздник я шла в гетто, а для них как будто уезжала к семье. И ещё меня навещал под видом дяди поляк, коммунист-подпольщик. Пожилой человек, уважаемый, хозяева с ним беседовали, он им нравился.

И всё-таки они подозревали что-то. Я не похожа на еврейку, но приходили совсем другого вида люди из леса, совсем не как «дядя», они свистели мне, я выходила, хозяева следили за мной, за этими людьми.

Естественно, им хотелось знать, кто у них живёт. А когда пришла в августе ликвидация гетто, они очень стали подозревать меня.

Я выходила на кухню, и хозяйка – женщины всегда такие – она начинала: «Ах, панна Броню, мне снился сон будто мы ходили в гетто...». И смотрит на меня, какая будет реакция. Я ничего, молчу, слушаю. А там гремят выстрелы...

Хайка Гроссман:

Они вошли в гетто внезапно, ночью [с 15 на 16 августа]...

4 часа утра. На стенах гетто появились объявления: всем евреям с небольшой ручной кладью явиться к 9 утра на Юровецкую улицу; их отправят в Люблин. Евреи читали и спокойно шли по домам. Ни возгласа, никакой паники...

Мы предполагали ударить по эсэсовцам, как только они начнут хватать свои жертвы. Немцы разбегутся, мы будем защищать прячущихся евреев, а те присоединятся к бойцам... ..каждый дом станет крепостью.

...толпы устремились на Юровецкую. Невероятно!.. Уже в 7.30 утра!

Почему они так торопятся умереть?.. Даже пожарные отказались поддержать нас; люди, не боявшиеся лезть в огонь, испугались немцев.

...Бесконечные потоки людей... Евреи навьючены перинами, подушками, одеты в зимние пальто... Плачут дети, теряются в суматохе... Детские коляски проседают под пожитками, поверх которых младенцы. Спасают имущество!..

Ясно, что мы, боевые группы, останемся отдельными островками в пустом гетто. За нами масс – нет... Немцы, наученные опытом боев в Варшавском гетто, собирают евреев на востоке Юровецкой. Здесь пригород: сады, пустыри и деревянные дома, не пригодные ни для боя, ни для укрытия... Но нам надо идти с массами на сборный пункт и поднимать их на борьбу.

...Наши бойцы мелькают среди евреев, нагруженные, как и они, перинами и подушками, но в них спрятаны пистолеты, гранаты и патроны.

...Без пяти девять. Улицы пусты. Последние евреи бегут, волокут узлы и детей. Они боятся опоздать. Они не хотят быть избитыми. В некоторых домах двери заперты снаружи – кто-то озаботился сохранностью оставленного имущества.

...Мы знали, что падём первыми; мало кто уцелеет. За нами массы. Больше 20000 евреев. Разрушим ограждение, и тысячи смогут бежать. Десятки погибнут – сотни спасутся... Мы станем мостом к жизни для этих людей. Мы проложим им дорогу... За ограждением гетто – пригород, там открывается путь в лес.

...Мы распределили оружие: винтовки, пистолеты, гранаты... Больше двухсот бойцов остались невооружёнными или с чем-нибудь, пригодным только для самозащиты. Пулемёт был один, старый...

Большинство девушек оружия не имели, им поставили другие задачи: взрывы и поджоги зданий, связные, медики... Они начнут первыми...

Мордехай и Даниель [Мошкович] остаются в штабной комнате.

Мордехай поразил меня в эти последние мгновения. Его комната была прибрана, кровати застелены, на столе цветная скатерть. Волосы Мордехая были причёсаны. Серый костюм, застёгнутый ворот, начищенные ботинки. Он сидел за столом, выслушивал связных. Слушал, не прерывая, не ругаясь; я ни разу не услышала его любимое «наплевать». И это Мордехай, нервный, порывистый, вспыльчивый?! Да, глаза его горели, но движения были неторопливы, фразы чётки и ясны... Командир, знающий своё дело.

Даниель был спокоен, как всегда. Мордехай отдавал приказы, поглядывая на него. Даниель был бледен, щёки

запали. Приятное лицо, хотя и изнурённое туберкулёзом.

Это последняя картина штаба восстания, запечатлевшаяся в моей памяти: маленькая комната, Мордехай и Даниель за столом с цветной скатертью, перед ними разостланная карта гетто, широко открытая уборная со складом оружия внутри.

...Наша группа заняла одноэтажный деревянный дом на Смольной, на углу большого юденратского сада.

...Тишина... Миновало десять часов утра. Вдруг поблизости в небо взвился столб огня. Это сигнал... Тут же мы услышали взрывы в гетто, и столбы огня поднялись вдалеке. Девушки выполнили своё задание...

Фабричная улица была в пламени, взрывы продолжались... Донеслось «Ура!» с позиций на Новгородской улице. Мы отвечали «Ура!». Мы входили в азарт... Мы стреляли и продвигались вперёд, к ограждению гетто.

...Немцы прятались за ним. На нас обрушился огонь. Кто-то лежал в крови. Загорелся дом, соседние вспыхивали, как спички. Пришлось отходить... Огонь пожирал дома, мы оказались на открытом месте, у врага как на ладони...

Немецкий пулемёт начал своё смертельное «тра-та-та»... Очереди шли над нашими головами. Мы снова атаковали и отступили.

Я помню, как вместе со всеми стреляла, падала, вскакивала и бежала к ограждению, а потом обратно. Я напоролась на колючую проволоку, мои ноги были в крови. Грязь, пыль и сажа покрывали меня. Вместе со всеми я кричала "Ура!" и жались к земле, когда немецкий огонь усиливался.

Я и сейчас слышу Лильку Малеревич: "Вперёд, вперёд, нам нечего терять!" – она кричала это мне, товарищам, раненным и, кажется, даже убитым.

...Ярость боя росла... Сад, Новогрудская и Смольная были усыпаны трупами. Они все лежали вдоль ограждения. Солнце уже поднялось высоко, наша стрельба стихала. Не было патронов...

Ворота гетто на Фабричной, всегда закрытые, вдруг распахнулись, и вполз танк. Он сразу встал – видно, ударили «коктейлем Молотова». Появились ещё танки.

Люди из толпы стали присоединяться к нам... Всего несколько десятков, но это обнадеживало. Снова и снова мы пытались прорваться сквозь немецкое оцепление. Может быть, это открыло бы путь массам...

Над головой рокотал самолёт. Он сделал несколько кругов и исчез. Вернулся. Атаковал нас...

С двух сторон двинулись колонны эсэсовцев. Мы обстреляли их, но они приближались, ведя огонь, отрезая нас от толпы.

...Наши патроны кончились, у нас было много жертв. Мало кто присоединился к нам... Мы сражались, из собственных тел мы выстроили мост, но массы по нему не пошли...

Колонны подходили всё ближе, окружение почти завершилось. Последовал приказ пробиваться к своим на Горной улице. Наш единственный пулемётчик должен был нас прикрывать. Я побежала... За спиной я слышала стрельбу. Я ощутила волну горячего воздуха, а потом услышала свист. Пуля прошла в сантиметрах от меня.

...Поле боя позади... Передо мной – Юровецкая, испуганные люди, лежащие на своих узлах. Всё перекрыто немцами, никаких проходов на Горную... Четвёртый час пополудни. Бой кончился. [Первый бой].

По **Б. Марку** (эпизоды восстания из книги «Движение Сопротивления в Белостокском гетто»):

...вошли грузовики с пехотой, три лёгких танка, броневедомость. Дора, одна из бойцов, сразу

застрелила командира немецкого отряда. В отместку немцы стали строчить по толпе евреев на Юровецкой. Сотни погибли...

...Немцы осадили дом с боевиками. Реня Верник подорвала гранатой себя и часть нападающих...

...Танки шли впереди, прикрывая пехоту. На углу Тёплой и Юровецкой боевики успели заложить в канализацию мину, но она не сработала.

Евреи атаковали гранатами... В другом месте танк встретили бутылками с зажигательной смесью...

Часть бойцов забаррикадировалась на одной из фабрик. В перестрелке убили гитлеровского офицера. Немецкая авиация бомбила фабричное здание...

...с железнодорожной станции снаружи гетто артиллерия обстреливала еврейский район.

...Первая ночь восстания. Немецкие патрули на выжженных улицах. Поиски спрятавшихся евреев: солдаты в пустых квартирах раскладывают на полу различные предметы – если наутро их порядок нарушится, значит, ищи еврея...

Группа Юдиты Новогрудской, вооружённая пистолетами, сорок мужчин и женщин с детьми, решила под покровом ночи прорваться через ограждение гетто в лес. Руководил Нахум Абелевич; у Юдиты разыгралась застарелая болезнь сердца, двое товарищей должны были её поддерживать...

Они нашли в ограждении замаскированную калитку, открыли её. Двое прошли на разведку. Они забыли притворить за собой дверь, и немецкий патруль снаружи углядел сквозь отверстие огни горящего гетто. Немцы начали стрелять. Разведчики оказались отрезанными.

Нахум Абелевич, пытаясь оценить положение, влез на стену. Его скосили очередью. Группа осталась без руководства и, отстреливаясь, отступила.

...Второй кровавый день. Белосток превратился в прифронтный город. Вблизи гетто остановлено

движение. Окрестности гетто преобразились в военный лагерь. Палатки, оружие в козлах, броневики на перекрёстках. Кружат самолёты...

...Остатки группы с разных участков боя собирались в большом бункере на Хмельной 7. 19 августа в 11 утра немцы обнаружили его; возможно, кто-то выдал. В убежище было семьдесят два бойца. Оборонялись отчаянно... Лишь к четырём дня немцы захватили всех и приступили к расстрелу...

Ночью того же дня Юдита Новогрудская, тяжело больная, организовала новый штурм границы гетто. Но только немногим удалось прорваться наружу. Сама Юдита погибла в бою.

...20 августа. Тененбаум отдал приказ поджигать дома – пусть ничего не достаётся врагу. Окруженным, без патронов, обречённым боевикам больше ничего нельзя было сделать.

В этот последний день восстания погибли командиры Мордехай Тененбаум и Даниель Мошкович. По слухам, дошедшим до партизан, они одновременно покончили с собой.

...Остатки бойцов Сопротивления под командой Велва Волковыского и Сони Шмидт действовали ещё несколько недель.

Б. К. ...там гремят выстрелы, почти месяц длится, потому что были такие, кто прятался в подвалах и долго продолжал воевать. А моя хозяйка выходит по утрам и вздыхает: «Ах, стреляют и стреляют... Когда уже можно будет спать спокойно?». Я не реагирую, как и на её сон, что мы ходили по гетто. Делаю своё дело на кухне и молча ухожу.

Гетто было огорожено: где-то забор с колючей проволокой, местами стена, а больше всего дома. Я ходила вокруг... Я хотела войти.. У меня была другая

функция, но я хотела... Ужасно это было, ужасно...
Ужасно...

Спотыкается голос Б. К., стихают и редуют слова. А лицо неизменно, разве что немного жёстче прежнего да горло вот дрогнуло... Там горят и падают ближайšie...

Меня опять ударяет: ей девятнадцать, она обаятельна, умна, артистична, отчаянна - трудно не найтись любви, тем более при общем пожаре, и скорее всего, там, в гибельном грохоте гетто – Он... А она в путах: «Другая функция»...

Может, я и верно догадался: в 1980-м году Б. К. писала о подпольщицах на арийской стороне, переживших восстание: «Мы потеряли свои семьи, своих друзей и любимых в гетто». Но спросить об этом язык мой не повернулся.

Б. К. День, другой хозяйке снится одно и то же: мы ходим в гетто. На третий раз я не выдержала: «Знаете, вы, наверно, слишком много думаете об этом. Обыкновенно, о чём много думаешь днём, это снится ночью». И знаете, ей сразу перестало всё сниться.

Спрашиваю: – А вы не подчеркнули, что вам вовсе не снится гетто, что вы об этом и не думаете?

Б. К. Нет, зачем же... Это была бы неправда, а я неправду не люблю. И я никогда не клеветничала на евреев, наоборот... И ничего, всё у меня обходилось. Всегда. Или почти всегда. Один раз меня поймали. Это уже после восстания...

В Белостоке образовалась группа подпольщиц из разных организаций, шесть девушек. Мы были одни, двадцатилетние сироты и вдовы. После восстания мы

продолжали привычную жизнь: работать на немцев, чтобы действовать в Сопротивлении. В городе полным ходом шла охота за прячущимися евреями, выловленных убивали. Но наши жизни для нас ничего тогда не значили. У нас было одно желание: мстить немцам!

Мы организовывали диверсии на электростанциях, в поездах, на аэродроме. Мы выполняли задания партизан, доставляли им разные сведения. Мы бродили по улицам в поисках беглецов из гетто или из поездов при депортации. Иногда нам везло: мы находили кого-то, прятали у каких-нибудь еврейских девушек, они сами жили нелегально, а потом переправляли в лес к партизанам. Там потом воевало почти сто евреев из белостокского гетто. Часто спасали только на время – в лесах тоже были жертвы...

Был случай, что я на улице заметила человека еврейского вида, я подошла и очень тихо спрашиваю: «Амха?» [идиш, сленг: «Ты еврей?»]. Он испугался. Я говорю: «Не бойся, я еврейка». Оказалось, он бежал из Трешлипки во время восстания там в лагере, это ещё второго августа, две недели он пробирался в наше гетто, пришёл как раз на ликвидацию, потом прятался в каких-то подвалах, под землёй, как мышь, голодный... Я его переправила в лес, и он там хорошо воевал, вообще был очень хороший, его любили, и он там погиб в бою. Понимаете? Гетто, лагерь, восстание, бежал, прятался, лес, голод, страх, и выжил, спасся – и убили...

А ещё, конечно, как раньше, мы доставали оружие, только теперь не для гетто, а партизанам. И вот однажды мы с Хайкой Гроссман, она спаслась необыкновенно и жила тоже под чужим именем, мы с ней кушили в одной деревне пулемёт. Тяжёлый.

У старшего из моих немцев, с которым я лучше всех ладила и ему больше доверяла, я выпросила подходящий большой чемодан, крепкий, деревянный.

В деревне крестьянин, который продал, упаковал в этот чемодан все части в тряпках, плотно, чтобы не звякнуло. Он заказал фурманку, приехал мужик, положили чемодан, сели на него, поехали до станции, километров десять...

Мы заранее условились с моим немцем-железнодорожником, когда, в каком часу я выйду к его поезду на этой станции. Он должен стоять в товарном вагоне в дверях и примет у меня чемодан. А в Белостоке он отнесёт его к себе, это близко от вокзала, потом я приду к нему забрать чемодан. Почему чемодан такой тяжёлый, я заранее объяснить не подумала.

Перед самой станцией я попросила мужика остановиться и подождать вместе с Хайкой, пока я схожу, узнаю, когда будет поезд, они тогда не ходили пунктуально.

На станции стоял маленький барак, там сидело несколько польских железнодорожных служащих, они сказали мне, что ещё не получено сообщение, когда прибудет поезд. Я подошла к одному, он мне лучше других показался — я, знаете, всегда действовала интуитивно — я спросила разрешения принести небольшой чемодан и оставить до поезда. Я уже заметила, что на станции много немцев, и надо как-то стать незаметной.

Поляк согласился. Он, конечно, не подозревал, что там оружие. Просто он понял, что там какие-то запретные вещи и надо мне что-то помочь.

Я возвращаюсь и вижу, что фурманка уезжает, а мужик показывает, где он оставил чемодан. Он подозревал нечистое, и он хотел поскорее убежать. Хайка тоже куда-то исчезла. И что мне делать? Но есть времена, когда у вас появляются неизвестные силы. И я понесла этот чемодан, который раньше я одна не могла даже поднять.

Не знаю как, но я дошла до станции, сзади неё, чтобы не заметили, через какой-то заборчик перетащила такой груз, добралась до поляка и оставила у него.

Пришёл поезд. Хайки всё нет, значит, я должна нести к моему немцу чемодан, да ещё как будто мне не тяжело. Опять не знаю как, но я это сделала. [Смеется. Не забыть бы читателю, что любой косой взгляд мог кончиться выстрелом или, страшнее того, застенком гестапо]. Я чемодан подаю, немец берёт и чуть не падает из вагона. И спрашивает: «Боже, что это?!». [Она впечатляюще расширяет глаза в том немецком ужасе]. Я говорю [тайнственно шепчет]: "Мясо". Слушайте, он поставил у себя в вагоне! Потом подошла Хайка. Немец, он же бригадир поезда, он посадил нас в пассажирский вагон. Как всегда, без билетов. В дороге уже обычно не проверяли.

Но в Белостоке на вокзале был контроль, мы без пропуска в город, и нас задержали и вместе ещё с такими поставили в сторону. Хайка, конечно, не рядом: мы не знаем друг друга – закон подполья.

Какой-то поляк мне давал издали знаки, куда бежать. Я хотела... А один из немцев заметил и стал **так следить**, что я больше и не пробовала.

Как будет – так будет. За чемодан я была спокойна: мы ведь договорились, что немец отнесёт его к себе домой.

Задержанных, человек двадцать, повели в полицию. Я все ходы знала, и я по дороге шагнула из шеренги в проход между двориками. Немец-конвоир стал кричать за мной, а я не только что не бегу, но ещё медленнее хожу. Он не может остальных бросить, и он пошёл за ними, а я пошла себе в квартиру, где чемодан.

Здесь мой немец с претензией: что я себе думаю и какая я легкомысленная и как я везу такую тяжесть, он мне чемодана сейчас не отдаст... Я испугалась, вдруг он знает, что там. Ключ от чемодана у меня, но там железо, может,брякнуло, он догадался...

Между тем и Хайка пришла. Она там что-то сказала в полиции, и её выпустили. [Сообщено легко, небрежно,

словно речь была: выпить чашечку кофе или так поболтать].

Немец продолжает, что я буду еле тащить, заметят, какая тяжесть, и меня задержат, спросят, чей чемодан, и у него будут неприятности [она очень, очень веселится], и лучше, чтобы я это мясо разделила и уносила частями, будет не опасно и хорошо. Я возражаю, что я уже взрослая, сама знаю, что делать. Но понимаю, что это чепуха, он говорит логично, и я должна дать логичный ответ. И я нашла сказать ему: «Это мясо куском и ему цена большая, а если его разрубить на части, то при продаже за него дадут гораздо меньше». Вот деньги его убедили. Я потом купила мясо, принесла своему немцу как будто из того мяса...

Мы забрали чемодан, пришли на место, где нас ждала наша девушка. И втроём на фурманке отвезли чемодан к той девушке домой, за рогатки, это по-польски караульная будка на границе города, охрана.

Дальше в лес пулемёт носили по частям, пешком. Сентябрь, но погода стояла хорошая. Мы выходили на шоссе к лесу вечером после комендантского часа, когда нет прохожих. Зато, конечно, чаще патрули немецкие, рискованно, но счастье или что – однако ничего не случилось.

Наша группа девушек-подпольщиц спокойно дожидая до освобождения, одну только убили...

Последние три недели перед освобождением немцы участвовали в облавах. Две девушки и я спрятались в бункере, это бомбоубежище на одном огороде. Когда пришла Красная Армия, мы вышли встречать. С флагом, его из красной наволочки сделали. Наши вещи остались в бункере, среди них моё пальто, там я зашила под подкладку ампулу с цианистым калием: отравиться, если немцы схватят, - и ещё зашила план, где тот поляк Филиповский архив закопал. Я пальто носила даже, когда тепло, но тут, знаете, июль, жарко очень, и такая

радость... А когда мы вернулись в бункер – нет наших вещей. И пальто тоже. Всё украли. Я тогда одно думала: пусть вор съест мой цианистый калий раньше, чем увидит план, где архив спрятан.

После освобождения прибежала ко мне жена того поляка Филиповского, у которого архив закопан. Сказала, что его арестовали советские войска... Я кинулась хлопотать, говорю: «Слушайте, он помогал гетто и партизанам». А они говорят: «Мы его арестовали не за то, что он делал во время войны, а после». «Но когда он успел? Меньше недели как вы пришли!». Нет, не освободили. Потом я узнала, что они нашли список всех членов АК, которых польское буржуазное подполье хотело сделать властью в Белостоке. И Филиповский там был. Их всех арестовали, увезли в Советский Союз, отпустили только в сорок шестом году.

Тогда и жена его исчезла куда-то в деревню, боялась ареста. И когда я пошла добывать наш архив – я его не нашла. Потом ещё ходила. Я познакомилась с моим будущим мужем, он служил в польской армии, и он пришёл со своими солдатами, мы вместе копали... Не нашли...

Щёлкнуло. Оборвалось... То ли плёнка кончилась, то ли магнитофон притомился... И Б. К. устала: который уж час берем память...

Молчим. Тихо.

– Ещё чаю?

– Спасибо, можно.

Пьём. На стенах в картинах перекликаются эпохи. Катастрофы там нет. Покой...

– Слушайте, – медленно и негромко спрашивает Б. К., – зачем мы столько говорим? Кому это нужно?..

...У поколения той войны вся последующая жизнь, какой бы длинной ни тянулась, – эпилог к молодости. Б. К. – не исключение.

Она жила в Варшаве, вышла замуж, здоровье мужа потребовало Швейцарии, где Б. К. окончила курс театроведения. Переехала в Израиль. Нет иврита – нет работы. Она трижды отучилась на курсах – добилаь совершенного владения языком. Пыталась работать в театре «Габима» – не вышло. Поступила в университет, получила диплом по архивному делу. Тут и подошло открытие Яд ва-Шем'а. В первую очередь туда шли из горнила Катастрофы, «люди Шоа». Б. К. – все карты в руки. Но её не взяли. Она полагает: слишком совпадали левые взгляды у неё и тогдашнего ядвашемовского начальства, оно побоялось обвинений в засильи «своих». Еврейские анекдоты...

В конце концов её всё-таки приняли. Год стоял 1955-й. В самый тот год пришёл в Яд ва-Шем М. Тамир, адвокат, в прошлом председатель Еврейской Исторической Комиссии Белостока, собиравшей в 1945-46 годах материалы о погибших. Он принёс дар – копии (машинописные и от руки) бумаг из архива Белостокского гетто. Оригиналы, объяснил он, в Лодзи, там Центральная Еврейская Историческая Комиссия. Она, лодзинская Комиссия, купила их у военного врача-еврея, которому его польский друг Филиповский передал после войны спрятанный архив.

(Филиповский, храня и рискуя, ни гроша не искал, друг-еврей – продал и за деньги немалые; тогда, кстати, еврейские мемориальные учреждения мало что покупали, почти всё дарилось безвозмездно. Впрочем, тут смешки не кончаются. В семидесятые годы некая женщина, скрывшая своё имя, тайно вывезла оригиналы из коммунистической Лодзи и принесла их израильскому университетскому учёному. Тот

сделал микрофильмы для Яд ва-Шем'а, а оригиналы, по его словам, возвратил. После его смерти оригиналы обнаружались у вдовы).

Как бы то ни было, архив белостокского гетто настиг Б. К. Будь она хоть чуть склонна к мистической какой-нибудь астрохиромуре, легко бы высмотрела здесь перст судьбы. Но и без потусторонности, на твёрдой земле стоя, нельзя не сообразить, что жизнь Б. К. закольцевалась счастливо, свершилась...

Б. К. работала с этим архивом. Она опубликовала материалы из него, привела в порядок записи Тененбаума, сделала их книгой "Страницы из огня", где глава пятая - "Письма к Бронке".

...Мордехай Тененбаум глядит на меня. Его портрет сорок лет светил над столом Б. К. в Яд ва-Шем'е, теперь он здесь, в её комнате. И вот она после долгих наших магнитофонных вечеров, после километров плёнки, намотавших войну и гетто, кровь и смех, страх и смерть – жизнь Бронки Винницкой, Ядвиги Шкибель, Брони Клибанской – она, вдруг устав, спрашивает: – Зачем мы столько говорим? Кому это нужно?

Что Вы, Броня! В беспросветности Тененбаум клал последние силы на архив.

М. Тененбаум (из письма, апрель 1943 г.):

Я хотел поставить скромный памятник тем, кто ушли навсегда, кто были мне самыми дорогими. Пожалуйста, не забывают их.

Забывают, Броня, забывают...

Но всё же вот он, Йом а-Шоа, День Катастрофы, и на центральной площади Яд ва-Шем'а в память шести убитых миллионов зажигают шесть факелов. В их отблесках главные в еврейском государстве люди

поминальные слова произносят... Так в сегодняшнем апреле, так и в прошлогоднем, и десять, и тридцать лет назад – устоялся порядок.

Выпал, однако, случай, что он отклонился. И на трибуну вышла Б.К. Она говорила о **своих**: о тех, кто дрался, о многих павших и немногих выживших и победивших – построивших свою страну. О людях свободной души, не подвластной насилию. О достоинстве.

Конечно, она не говорила о себе, но мне припомнилось, как она презирает теперешнюю германскую подачку жертвам Катастрофы и как ей ненавистен нацист, хоть гитлеровский, хоть доморощенный свой. «Я, знаете, немецких товаров не покупаю», – её слова.

Броня, сберегающая память и честь, что он сказал, Мордехай Тененбаум, поручая Вам архив наравне с оружием? «Помни, ты последняя».

Броня, Вы выстояли. Вы победили. Спасибо, Броня.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЯТОЕ

Побежала моя дорога под гору. Оглядываюсь назад. Вижу тех, чьи уроки доброты и совестливости хотелось бы мне хоть сколько-нибудь усвоить. Кого-то уже нет – будь земля им пухом, кто-то здравствует - дай Бог подольше. Для меня они все – живы:

**Михаил Васильев,
Борис Уманский,
Софья Сапиро,
Борис Данишевский,
Елена Семёнова (Ляля Берман),
Галина Дьяковская,
Мая Пантелеймонова,
Ариадна Громова,
Константин Брагинский,
Игорь Бублевский,
Александр Шапиро,
Иешуа Гельман,
Ольга Касьяненко,
Мара Варшавски,
Ицхак Лен
Катя Гусарова.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Томлюсь: как завершить книжку чем-нибудь бодрым? Не хэппи-энд: Катастрофа – не сказка, откуда взяться счастливому концу? Но литстандарты требуют «свет в конце туннеля». Иначе не туннель – тупик.

Роюсь в папке с надписью «Судьбы»: там выписки, заметки мои, переписка. Листаю: смерть, смерть, смерть – сплошь чернота. Еле выцарапываю крупницы утешительные:

Из письма председателя Чистяковского сельсовета Ростовской области (Россия) на фронт В. Теплицкому:

... Теплицкая Поля с двумя сыновьями одному 6 лет и другому 2 года проживала до июля 42 года когда к нашему району подходил враг кровожадный тигр то она эвакуироваться не могла и осталась на месте где и была злодейски умерщвлена со своим 2-летним мальчиком, а второй мальчик остался жив и сейчас находится в детдоме... Имущество некоторое сохранилось и сейчас находится под сохранной распиской в гражданина Чистяковского сельсовета...

Порадуемся имуществу, а главное, мальчику, что выжил, кем-то, слава Богу, спасённый, вот и справка номер 82 от 26 окт. 1948 г., выданная сельсоветом 12-летнему «гр-ну Гиверц Науму Борисовичу в том, что он во время немецкой оккупации находился на территории хут. Стадивлянка... мать его и младший брат были замучены и расстреляны немецкими захватчиками».

Алла Р. (Днепропетровск, Украина):

...наша семья во время немецкой оккупации жила в г. Днепрпетровске. Дворник нашего дома внесла нас в список евреев, которые должны были явиться 13 октября 1941 г. на центральную площадь для какой цели – неизвестно.

Мама, ей было 40 лет, брат Виталий 14 лет и я 7 лет, с повязками на рукавах были построены в колонну. Отец мой Царенко Александр Ефимович – он украинец – стоял рядом на тротуаре. Когда колонна под ударами охранников начала двигаться, поднялась паника – люди стали, видимо, догадываться о дальнейшем. Отец позвал меня, а мама подтолкнула меня к нему, отец схватил меня и скрылся в толпе.

Мама и брат, как и все находящиеся в колоннах люди, были расстреляны...

2 года оккупации меня прятали сначала знакомые отца, а затем сестра отца...

Клара (14 лет в начале войны, фамилия не указана; просьба увековечить спасителя):

Когда повели на расстрел, мы с ним очутились (ударали) в туалете, который стоял недалеко, и там с ним пробыли целые сутки, в этой грязной калом яме по пояс. Ночью я бы сама не выбралась, но он мне помог так как ему уже было лет сорок вылезти из туалета. Возле речки он меня обмыл и мы пошли на запад в сторону г. Ровно.

Я потом ходила от села к селу и нанималась на работу, так и жила, а его впоследствии убили возле Корца так я потом узнала. Звали его Аврум из села Дубровка...

Меер С. (1928 года рождения; Курск, Россия):

Курск был оккупирован гитлеровцами 2-го ноября 1941 года и сразу же стали гестаповцы забирать всё взрослое мужское население. В их число попали мой

отец (бывший ополченец) и старший брат. Отца расстреляли 7 ноября вместе с 9-ю заложниками... Брата мать обменяла на валенки у немецкого офицера. В эту зиму были сильные морозы.

А в декабре забрали и всех нас... поместили в подвальное помещение родильного дома... Затем людей еврейской национальности поместили отдельно, держали без пищи и воды. Через несколько суток, глубокой ночью гестаповцы скомандовали матерям с маленькими детьми и маленьким детям выйти на мороз, посадили в машину и вывезли за черту города... В это число попали и мы с младшей сестрой Цилей 1930 г.р.

Место расстрела был пустырь и небольшой кустарник. Первыми расстреляли матерей, затем маленьких детей стреляли и убивали прикладами автоматов. Моя сестра звала меня, просила помощи. В меня тоже стреляли, но не попали, а я упал и покатылся, затем затих. Всех, кто стонал, кричал или вставал, добивали на месте. Затем этот ужас кончился, всё стихло и немцы уехали.

Я пролежал среди убитых до утра, потом встал и заметил раненую девочку лет 10-11-ти. Спросил её, может ли она идти. И мы с ней стали потихоньку пробираться в город. Дошли до ул. К. Маркса, но силы стали оставлять девочку, она истекала кровью, вся её одежда обледенела. Она попросила сообщить о случившемся жене брата. Назвала адрес, и я пошёл один. На ул. Урицкого нашёл жену брата (она была русской) и рассказал, где я оставил девочку. Мне дали хлеба и посоветовали побыстрее покинуть город.

Я пошёл на запад нашей области. В пути просил милостыню, прятался от немцев. Дошёл до села Пены, некоторое время поработал в пекарне, а в одну из ночей услышал от рабочих, что забирают евреев, и тут же покинул это место.

Так начались мои скитания и постоянный страх быть обнаруженным и убитым. Пас корову у хозяина. Затем дошёл до Сумской области – это уже Украина. Некоторое время пожил в детдоме. Сам собирал милостыню и кормил сиротских детей, а затем, когда детдома не стало, ушёл дальше. Дошёл до Роминского района совхоза им. Ленина и с мая месяца 1942 года по 1946 год я работал у них конюхом под вымышленной фамилией. Меня звали Анатолием Димитровым. Жил я на конюшне среди лошадей. Прятался от немцев, был голодный и согревался теплом лошадей, был оборванный и кормил 2,5 года вшей.

В 1946 году в апреле я решил вернуться в родной город. Вернулись родственники из эвакуации, и я обрёл у них свой кров и тепло близких мне людей.

В 1946 г. я справлялся о раненой девочке, мне сообщили, что её обнаружили немцы и добились на месте.

Просверки уцелевших жизней гложут в окружающем их мраке гибели – ну, как тут выцедить утешение? Катастрофа само понятие «счастье» определяет по-своему.

Мария Бартош (председатель колхоза «Большевик», Краснодарский край; письмо от 12.12.1944 г.):

Дорогой товарищ, даю ответ на ваше письмо, которое вы писали мне как председателю колхоза. ... Шах Фаня Исаковна с сыном и матерью находились в нашем к-зе, их к нам привезли 23 июня 1942 г. Проживая у нас, Фаня заболела лёгкими, [умерла] в нашем областном городе Майкоп в больнице, там же её мама Фейга Симховна похоронила. Остались они жить с унуком и вот в августе м-це 42 года 9 числа в наше селение ворвались изверги-немцы. И 18 сентября немецким командованием был издан приказ собрать всех

евреев в одно сдание... в том числе были бабушка Фейга и её внук Изик, мы его здесь так звали, какой он славный мальчик. И часов в 11 дня всех собранных посажали на автомашину, вывезли за селение и без всяких причин невинных людей расстреляли, также расстреляли бабушку Фейгу и Изика бедного сиротку. А Фаня умерла своей смертью. Она счастлива.

Счастлива?.. И Наум Гиверц, Алла Р., Меер С. – их истории спасения, что-то и они не в радость настоящую.

Остаётся обернуться к своему, личному.

...Место называлось, допустим, Берендеевка. Минут сорок езды от всегда взбаламученной столицы. Дурно пахнувшая просквоженная электричка выплёвывала меня на ночной перрон, снежно-серебряный под станционными лампами, из-под их света предстояло окунуться в подслеповатые улочки посёлка, уползающие в глухоту леса, пробитого дорогой, отороченной сугробами. Огромные сосны чернели далеко вверх, лишь кое-где и нехотя приоткрывались ключья неба с морозными проколами звёзд. Если поддувало, кроны шуршали морским прибоем, но внизу воздух всегда стоял, голубели колеи дороги, регулярно обновляемые трактором, а то и бронетранспортёром, ибо дорога имела как бы военно-стратегическое значение: она вела к дачам больших армейских чинов.

С полчаса скрипел я снегом на той трассе, пока она тут же в лесу не становилась лунной улицей: среди деревьев выявлялись заборы, за ними темнели дома и, отсчитав сколько-то ворот, я останавливался перед родной калиткой. Точнее говоря, условно родной. Дача принадлежала давно отвоевавшему генералу, по

дряхлости обречённому на затхлость городской квартиры; ведал дачей его сын, преуспевающий по границам журналист, так что «ведал» значит «наведывался», поскольку в московские наезды у него работы всегда было невпроворот и выпивки тоже.

Когда-то в шестидесятые годы папа-генерал, командировавшись в Карелию, высмотрел в тамошней брошенной деревне домище в два с половиной этажа, и местное военное начальство угодливо раскатало строение, погрузило огромные брёвна на платформу, доставило в Подмоскowie вместе с северными умельцами, каковые на отведенном генералу месте вознесли карельский сруб по надёжным своим прикидкам, и балкончики сладили, и перильца резные пригнали, и крышу увенчали коньком с языческим солнечным узором – живи да радуйся.

Вокруг дома земли чуть не пол-гектара, вековые ели спереди, а сзади кусты: малина-ягода, крыжовник, по краям участка черёмуха летом кипит, сирень по весне ярится... Поодаль сарайчик хозяйственный поставлен аккуратно, словно выточен, сортир и тот глаз радует, доска к доске, а в двери окошко сердечком, наблюдать, сидючи, кто подходит. Простота; однако, и удобство.

В доме газовое отопление, телевизор, водопровод, но для души и для здоровья прорыт на участке колодец, глубокий, с водой пронзительной, поистине «живой». Над колодезным барабаном крыша, тоже, подстать дому, резная – и все строения едино с природой смотрятся сказочно-прекрасно, одно слово: Берендеевка... Особенно в снегу: кровли под шапкой, комья на ветках, сугробы до окон...

Но хозяевам, как уже отмечено, наслаждаться сказкой не получалось, окрестные дачи, немногим плоше, тоже зимой пустовали, разве что на выходные

кто-нибудь наезжал походить на лыжах или вздрогнуть с коньячком и девочками, обычно же посёлок стоял безлюден, безмолвен, ночами вовсе глух и тёмн. Ночами ведь и вороны спят, волки давно изведены, новые хищники, собаки одичавшие, и те почти не объявлялись: тихо... А народ подмосковный, известно, озорной, и нанятому деду-сторожу, хоть и пил-то не запоем, в меру, ему, одному на весь посёлок, много ли страху нагнать на огольцов? Какую-то дачу ограбили, другую подпалили смеха ради – дотла сгорела...

Боязно стало хозяевам, и тут я подвернулся. Мне дозарезу надо было из столичного гама выскользнуть: мне книга придумалась, в суете её не сладить. Мы сговорились: жить мне на даче, верней, ночевать, платы никакой, да и неясно, то ли мне причитается за охрану, то ли с меня за жилплощадь.

Пора стояла замечательная, конец семидесятых, советский режим густел болотом, синильные старики наверху и полупьяный народ внизу, дурь и мощь, общая бестолочь и личное бесчестие. Тем более – национальное... Ещё более – еврейское... Вспоминается учёное собрание, где ведущий благожелательно назвал докладчика по имени Абрам Аркадием, а тот поправил: «Прошу прощения, не Аркадий – Абрам», потряс себя и всех: смелый – обалдеть!

Тогда и попала мне в руки – книжка, Книга о гибели варшавских евреев, автор Б. Марк, историческое исследование, сказочная быль: несколько сот почти безоружных мальчиков и девочек месяцами отбивались от двух тысяч профессиональных убийц с танками и самолётами. Огонь и ярость... Презренное «абхаша» зазвучало гордым «Абрам», а то и «Абрахам» – эхом набатной

древности. Какой там, к чертям, «Аркадий»! Тот кураж в отблесках кровавого варшавского зарева - жалкий петушиный вздрог.

Книга была на польском. В советском обиходе еврей оставался «абхашей», и в потугах что-то кому-то показать, растолковать – я перевёл её на русский язык.

Напечатать перевод по тогдашним условиям и присниться не могло, только подпольно, входя во всамделишный риск войны с властями, то, что называлось «самиздат» – фотографии машинописных страниц (множительные хитрости вроде ксероксов не водились в дремучей советской цивилизации). Для подобного издания пятисотстраничная эпопея требовала предельного ужатия, тем более, что напрашивались поясняющие замечания: юдофобия и вообще ненависть, евреи и вообще люди – много чего колотилось в тему, но стержнем, сердцевинной замышленной мною книги пылало восстание Варшавского гетто и ждало оно своей особой краски.

С тем и прибыл я в Берендеевку. Таскать воду из колодца с узорчатой крышей, варить пельмени, пить замёрзшее на веранде шипучее вино «Салют», по утрам чистить дорожки от снега, пахнущего морозом и хвоей, или бегать на лыжах по участку вокруг дома, а при большой охоте – в лесу, ночами разбавлять бессонницу телевизионной чушью и зарубежными радиоголосами, в Москве недоступными, заглушаемыми – и думать о Варшаве, искать к ней подступа. Не годились ни беллетристические фокусы, ни бесстрашие историка, ни надрыв агитатора...

Случались гости. Сын-студент иногда приятно виделся с учебником за столом в кругу света из-под матерчатого с кистями абажура; друг любезный давний ночевал, тешил болтовнёй под водочку с пузырящейся яичницей; то вдруг посреди ночи

колотился в дверь невесть откуда возникший забулдыга: в аккурат напротив дачи застрял беспомощный его «москвичок», а в нём, кстати, две девахи – и приходилось дать лопату выгребаться из сугробов, а потом sprыснуть знакомство и отмахиваться от «спасибо, друг!» и «давай с нами, кореш, тут недалеко, в деревне, у бабки самогон-слеза, или там портвешка принять на грудь по капле, погудим от души, ё-моё, скажите, подруги?» – и подруги атели призывно... Я отговаривался: не до того, сердце жали варшавские евреи.

И появилась Она, вынырнула в тёплый покой бревенчатой крепости из другой книги, тоже польской – сборника фотографий. На одной из них стояли две девушки лет двадцати, одна красива и тосклива, другая попроще и поживее в сбившейся набекрень кепке. Под снимком пояснялось: участницы восстания Варшавского гетто перед расстрелом. Видимо, из снимков, которыми командир немецких карателей генерал Штроп (или Струп – мне так больше подходило для книги) сопровождал свои отчёты о войне с восставшими евреями.

Лицо девушки в кепке, узкоглазое, чернобровое, с мягкой округлостью, с улыбочатой складкой пухлых губ, навязалось мне, запало, замаячило между деревьев и сугробов. Что за той странной усмешкой: непонимание? спокойствие? презрение? сила? В любом случае, не страх, не поражение. Что рассказала бы о восстании такая девчонка?

Ночи заполнились. Приходила Она и собранными в книге Марка голосами очевидцев говорила, говорила, а я строчил за ней, разворачивал панораму боя, смерти, славы...

Книга слепилась, выползла в чтения по московским квартирам, потом в самиздатские копии, с

перестройкой добралась до типографий, родимых и зарубежных. Всё бы ладно, да щемило: одна из первых оценщиков книги, поэт, критик, советчик яростный, слегка хваля и бурно ругая, разоблачала среди прочего и ту фотографию с девушкой: «Липа! Улыбка под дулом? Такой весёлый расстрел? А пальто по фигуре, а личико пухленькое, а бусы, бусы-то на шее – это, по-вашему, человек из гетто?!». Слабо отбиваясь: мол, дело не в деталях, литературная условность, образ и так далее – я, однако, томился: претила фальшь, даже намёк на неё. Как-никак Катастрофа, не анекдоты травим...

Лет десять прошло, и листая «Бюллетень Яд ва-Шем» за 1968 год, номер 22, я увидел снова ту фотографию и заметку израильтянки Малки Здроевич, которая узнала на снимке себя и подругу свою, и описала тот расстрел, и как её ранило, и как она потеряла сознание, а после, брошенная трупом, – ожила. Примерно то же угадалось в моей книге, и вот вышло правдой против неверия моей приятельницы, придумка обрела плоть.

Сегодня – тоже ведь совпало! – я заканчиваю эту книгу в день 13 марта 1998 года, когда в Иерусалиме, за моим окном восторженно галдят несусветно разряжённые, гримированные, безудержные еврейские дети: празднуют Пурим, юбилей избавления иудейского племени от поголовного уничтожения.

...Расстрелянная в Варшаве в 1943 году Малка Здроевич – израильтянка семидесятых годов...

...Под небом, иерусалимским, безразмерным, отсверкивает здание Зала Имён. Его стены облицованы грубо отёсанным местным камнем. Золотистый отблеск рустиковых плоскостей показался

бы здесь чересчур разбитным, не сообрази архитектор разрядить их серой бетонной лентой. Она охватывает в верхней части три стены. На коротких западной и восточной стенах лента почти пуста, лишь местами выступают из бетонного массива корявые гребешки, неровности, бугры... Это мёртвые остатки убитых букв. За углом, на длинной северной стене, они оживают коробчатыми конструкциями, сложенными из тонких плиток, местами продырявленных, прорванных. Полые коробки поднимаются торжественными буквами, дыры на них – пулевые раны, но и простреленные они живут, дышат, чеканят собой ключевую для Мемориала фразу пророка: «Им дам я в доме моём и в стенах моих память и имя, которые не истребятся».

На том и поставить бы точку. Но вот ведь какой фокус вытворяет Её Величество Судьба. Коробки букв, открытые сверху, с отверстиями в боках, оказались идеальными скворешниками. Синицы натаскали травы внутрь букв, навыводили в тех гнёздах птенцов, и по весенним утрам, когда солнце распаивает настезь небо и заливает собою ещё пустой от посетителей Яд ва-Шем, — птицы в буквах и на буквах суетятся, вспархивают, чирикают, орут благим матом – кипит неистребимая жизнь.

Посреди Иерусалима,
 посреди Горы Памяти,
 посреди Яд ва-Шем'а.

1996-2005

